

И В А Н З О Р И Н

.....

В социальных сетях

*Эту книгу
рекомендуют
вам 100
читателей*



Социальные сети — сети измен!



Знак качества (ЭКСМО)

Иван Зорин

В социальных сетях

«ЭКСМО»

2012

Зорин И. В.

В социальных сетях / И. В. Зорин — «Эксмо», 2012 — (Знак качества (Эксмо))

Социальные сети опутали нас, как настоящие. В реальности рядом с вами – близкие и любимые люди, но в кого они превращаются, стоит им войти в Интернет под вымышленным псевдонимом? Готовы ли вы узнать об этом? Роман Ивана Зорина исследует вечные вопросы человеческого доверия и близости на острейшем материале эпохи.

© Зорин И. В., 2012

© Эксмо, 2012

Содержание

Обыкновенная история	6
Мертвые души	18
Дама с собачкой	26
Преступление и наказание	30
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Иван Зорин

В социальных сетях

© Зорин И., текст, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Обыкновенная история

Модест Одинаров так и не узнал, кто включил его в интернет-группу. «Верно, начальство», – решил он, получив уведомление по электронной почте, и послушно перешел по ссылке. Был вечер, Модесту Одинарову хотелось спать, он вяло просматривал сайт, пробегая глазами комментарии, пока не наткнулся на заставивший его вздрогнуть. «А что думает Модест Одинаров?» – писала некая Ульяна Гроховец. «Или сослуживцы разыгрывают? – скривился Модест Одинаров, гадая, кто мог за этим стоять. Он с удивлением обнаружил, что ему завели личную интернет-страницу, где указано его место жительства и от которой прислали пароль. – А с возрастом ошиблись, думают, я моложе». Модест Одинаров жил в большом городе, работал в крупной компании, где его приучили все доводить до конца, не откладывая в долгий ящик. Глаза уже слипались, он решил, лечь ли в пижаме, оставив на ночь форточку, или голым, плотно ее закрыв, но, прежде чем покинуть страницу, ответил: «Полностью с вами согласен». И нажал на кнопку «Мне нравится».

У Модеста Одинарова был ранний брак. И такой же ранний развод, после которого он в одиночестве грыз добытый в поте лица хлеб, копил деньги и мечтал о пенсии. «Начну жить», – подмигивал он себе в зеркале, представляя домик на морском берегу, раскладной полосатый шезлонг под платаном и белый песок, который, поднимая, ввинчивает в пустынный пляж ласковый южный ветер. Каждый день рождения, каждый отложенный рубль приближали Одинарова к мечте, ему казалось, что уже не за горами то время, когда он, как в детстве, сможет, склонившись набок, швырять в море плоские камни, которые будут скакать по волнам, выпрыгивая, как летучие рыбы, или, сложив ладони у рта, вдруг закричать первое, что придет на ум, а ответом будет только долгое насмешливое эхо. Модест Одинаров жил на последнем этаже, забившись, как воробей, под крышу, и мечтал о будущем без надрывного будильника, городских пробок и вечно недовольного начальства. В выходные он вышагивал по бульвару, кормил со скамейки голубей, а встречая знакомых, опускал глаза.

– Модест? – окликнули его раз на улице.

Одинаров кивнул, собираясь перейти на другую сторону.

– Не узнал? – тронули его за локоть. – А ведь за одной партой сидели. – На Одинарова уставились красные, рыбы глаза. – Я тебе еще списывать давал.

– И что?

Усмехнувшись, однокашник погладил седую щетину:

– Выпить хочется, а денег нет.

Одинаров, не глядя, протянул мелочь.

– А жизнь-то налаживается! – В руках у однокашника появилась бутылка. – Составишь компанию?

Одинаров покачал головой.

– А раньше не отказывал. Помнишь, как с уроков сбегали? Как нам не продавали пиво и приходилось прохожих просить? Ты еще говорил, что тебя отец послал. Эх, были времена! Может, передумаешь? Посидели бы, поговорили. Ты когда в последний раз разговаривал?

– Не помню.

– Вот видишь! А у меня столько наблюдений.

Запрокинув голову, он стал пить из бутылки, держа ее одними зубами, потом, дернув шеей, отшвырнул пустую:

– Заметил, что никакая борода не прикроет лысины?

Одинаров промолчал.

– А что сегодняшняя жизнь не заменит прежней?

– Значит, не работаешь?

– А зачем? Ты вкалываешь за двоих! Правда, пользы от твоей работы ноль. А какие надежды подавал! Стихи писал, а теперь, как слепой, от привычных стен ни на шаг. Как случилось, что живешь через силу?

Одинаров вздохнул. Однокашник повесил на губе сигарету, но зажигать не стал.

– А ты в бога веришь?

– Нет.

– И не страшно?

Одинаров пожал плечами.

– Не пьешь, не куришь и в бога не веришь. Мне тебя жаль.

– Не лги! – взвился вдруг Одинаров. – Никому никого не жаль! Никому!

Однокашник расхохотался, потом, вложив в рот пальцы, по-мальчишески засвистел, как давным-давно, когда, стоя под окном, вызывал Модеста из дома.

– Сейчас выйду, – как и прежде, отозвался Модест Одинаров. – Через пять секунд.

– Приходи, я жду, – серьезно ответил однокашник, вдруг почернев, как земля.

И Модесту Одинарову стало страшно, он уже не узнавал однокашника и не мог понять, в каком времени находится. И тогда он закричал. Он кричал, пока не проснулся от своего крика. Потом, вытянув руку из-под одеяла, по привычке утопил кнопку будильника и еще долго лежал в постели, глядя в потолок и вспоминая, как год назад хоронил приснившегося ему однокашника. Лил дождь, и в гроб летели крупные капли, стекая по лицу у покойника. Казалось, будто он плакал, а когда поплыл наложенный в морге макияж, пришлось торопливо опустить крышку. Свое имущество однокашник успел пропить, так что, собирая на похороны, пустили шапку по кругу. Круг оказался узким. Он состоял из одного Модеста Одинарова.

Сквозь пыльное окно едва пробивался рассвет, и утро обещало быть как скисшее молоко. Ничего не хотелось, все казалось пустым и никчемным. В такие дни стреляются или напиваются до бесчувствия. Полину Траговец от подобного спасала мать. «Ты не имеешь права думать о себе, – говорила она хорошо поставленным голосом бывшей учительницы. – У тебя на руках престарелая мать». Цепляясь за жизнь, мать по кусочку кромсала дни, отведенные дочери, приспособливая их к своим. «Не кормит», – пуская слезу, жаловалась она соседям, так что на Полину в подъезде смотрели осуждающе. Годы шли, а жизнь у Полины все не начиналась. Когда-то у нее были женихи, но мать быстро всех отвадила. «Он тебе не пара, – говорила она в далекой Полининой молодости, а потом, когда у дочери появились первые морщины, добавляла: – Потерпи, уже недолго, выскочишь тогда за кого хочешь». И Полина осталась синим чулком. Изю дня в день она ходила на работу, готовила матери ужин и, слушая старческое брюзжание, думала о своем. У каждого есть тайна, и Полина была влюблена в одинокого жильца с верхнего этажа. Встречая его в лифте, она краснела как девочка, отворачивалась к зеркалу, в котором отражалось его строгое лицо с суровыми складками, и молилась, чтобы он с ней заговорил. Она и сама тысячи раз подбирала слова, с которыми обратится к нему, выстраивала их в единственно верной последовательности, делавшей их неотразимыми, как стрелы, но в лифте они вылетали из головы. А Модест Одинаров не обращал на нее внимания. Однажды она увидела его с ноутбуком под мышкой, и это натолкнуло ее на мысль – раз у нее не получается завести знакомство в реальности, значит, можно попробовать начать отношения с Интернета. Разыскав его почтовый адрес, она завела Модесту Одинарову личный аккаунт и включила его в свою интернетовскую группу.

Раз в неделю, в среду или четверг, Модест Одинаров ходил к немолодой кривоzubой проститутке. Побыв полчаса, он расплачивался, выкладывая деньги на растрескавшийся комод. Она не знала его имени, он ее. «Точно звери», – спускаясь по лестнице, думал Модест Одинаров. Но такие отношения его устраивали, распорочившись с молодостью, проститутка брала недорого, к тому же постоянным клиентам делала скидки.

– А у меня вчера отец умер, – как-то сказала она сдавленным голосом.

– Да? – задержался в дверях Одинаров и, не зная, что сказать, стал мять шляпу.

– Бросил он нас, – вздохнула проститутка. – Я тогда под столом проходила, и с тех пор мы не виделись. Помню, с матерью они все время ругались, он заначки от нее делал, она от него гуляла.

Одинаров надел шляпу.

– А на похороны я не пойду, – показала хозяйка свои кривые зубы. – Пусть как жил бобылем, так завтра один и управляется.

За дверью Модест Одинаров сплюнул на половик.

«Хорошо, что не завели детей, – вспоминал он свою короткую семейную жизнь. – До сих пор бы расплачивался».

Хлопнув парадной, он еще раз сплюнул и быстро зашагал по улице.

Женился Модест Одинаров на однокурснице, влюбившись без памяти. В их романе было все: соловьиные ночи, стихи, которые он ей посвящал, уличный фонарь, льнувший к изголовью кровати в дешевой гостинице, были ночи, рассказывать о которых можно целые дни, и дорога к венцу, устланная розами.

«Банальная история, – повторял Модест Одинаров, когда жена ушла к его приятелю. – Сам виноват, зря познакомил».

Приятель работал тренером по теннису и, когда был без ракетки, непрерывно крутил мяч короткими крепкими пальцами.

– Ты мямля, – собирая чемоданы, бросала жена Одинарову, закрывшему голову руками. – И сам об этом знаешь.

– Ты мямля, – подтвердил на другой день приятель, зашедший расставить все по местам. – И об этом все знают.

Он с размаху стукнул мячом об пол, так что тот ударился о потолок, и, задрвав голову, ловко поймал его растопыренной ладонью.

– Я мямля, – согласился Модест Одинаров, обводя взглядом разом опустевшую комнату; он только сейчас заметил, что приятель давно ушел.

Он открыл окно на балкон, глядел на сновавших внизу прохожих, загибал пальцы, точно гадая, сколько еще из них знают открывшуюся ему истину, потом убрал разбросанные женой вещи, сменил замки, спустив ключи от прежних в мусоропровод, и переселился на другую планету, где не было ни жен, ни приятелей, ни любви.

С годами жизнь Модеста Одинарова вошла в свое одинокое русло, когда живут уже по привычке, не спрашивая себя зачем, не загадывая наперед и не оглядываясь назад, всецело отдаваясь текущему мгновению, которое как две капли похоже на прошедшее. По субботам он спал как убитый, без страхов, без сновидений, а по воскресеньям просыпался с тем горьковатым вкусом во рту, который появляется, когда снится сатана. Но Модесту Одинарову снился его начальник, молодой, лысоватый, носивший глаза как очки, сквозь которые смотрел оценивающе, точно ювелир через лупу, и пока дело не касалось прибыли, безмолвный, как книга. От долгого, привычного молчания губы у него склеивались, как запечатанный конверт, а когда он что-то произносил, трескались, будто спелый стручок, вываливая наружу горошины слов, которые, перекатываясь, разбегались в разные стороны, точно доказывая, каких трудов стоило ему составить из них предложение. Во сне начальник распекал Модеста Одинарова за упущенную возможность заработать для компании лишний рубль. То и дело вынимая двумя пальцами запотевшие глаза-очки, он протирал их чернильной промокашкой, пока, смущенный его внезапным молчанием больше, чем речами, Модест Одинаров виновато втягивал голову в плечи. А потом начальник, указывая на дверь, бросал одно слово: «Уволен!» Открывая глаза, Модест Одинаров сглатывал слюну и думал, что сон вещий и, возможно, сбудется уже завтра, в понедельник. Чтобы развеять дурное предчувствие, он быстро завтракал и, завернув в газету почерствевший за ночь батон, спускался на бульвар кормить голубей. Это занятие действовало

на него расслабляюще, он смотрел по сторонам – вот прошла на шпильках блондинка, такая высокая, что казалось, будто под джинсами у нее спрятаны ходули; вот на соседнюю лавку опустился старик с трясущимися руками, про которых говорят «он дышит на ладан», с проступавшими, как реки, венами, и, развернув газету, погрузился в статью о здоровом образе жизни. Эти наблюдения убеждали Модеста Одинарова, что он не более чудаковат, чем остальные, и потому ничто не может нарушить его сонной безмятежности. Но однажды он вернулся с воскресной прогулки сам не свой. У него тряслись руки, и, наливая чай, он разбил чашку. Расхаживая по комнате, он пожалел, что не завел кошку, на которой можно сорвать злость, потом, зацепив ногой табурет, сел за компьютер и, зайдя в интернет-группу, куда был недавно приглашен, быстро отстучал:

«Я кормил на бульваре голубей, потихоньку отщипывая хлеб от лежавшего рядом батона. Было пасмурно и безлюдно. А потом появился он. Даже не он, а его собака. Огромный питбуль со свинячьим хвостом. Рычаньем разогнал голубей. Положив лапы на скамейку, стал обнюхивать батон.

– Уберите пса, – как можно спокойнее сказал я.

Толстый мордатый хозяин расплылся в улыбке:

– Не бойсь, не укусит.

Собака стала грызть хлеб.

– Чарли, фу! – ласково окрикнул мордатый. – Оставь старику горбушку.

Я не смел шелохнуться. Собачник прошел мимо, тихим свистом подзывая животное.

– Намордник надевать надо, – прошептал я вдогон одними губами.

– Кому? – нагло обернулся он.

И, заржав, пошел по аллее. Я готов был его убить! И почему я должен терпеть? Потому что трус? А сколько было таких обид! Сколько раз я уступал! О, как сладко было бы видеть его мозги, которые клюют голуби!»

Опубликовав сообщение, Модест Одинаров успокоился. Взяв веник, он замел на кухне осколки разбитой посуды, а когда вернулся, его ждал короткий комментарий:

«Зря его не убил. А за ним и собаку».

Совет был подписан: «Раскольников».

«Ну, это уже слишком», – подумал Модест Одинаров. И тут же, словно его мысли читали, появилось:

«Боишься? А если б не боялся? И знал, что за это ничего не будет?»

Вместо ответа Модест Одинаров исправил на своей странице возраст, вписал в графу семейного положения: «Разведен», а в религиозные взгляды: «Не знаю».

Полина Траговец прочитала сообщение Модеста Одинарова, и ее охватила жалость. Она представила его маленьким ребенком, которого обижают сверстники, и почувствовала к нему материнскую нежность.

Внизу, на первом этаже его дома, был магазин, с витринами больше его квартиры, светящимися по вечерам неоновой рекламой. В детстве Модест часто заходил в него и, прислонившись щекой к холодному кафелю в отделе живой рыбы, долго смотрел на блестящих чешуей морских чудищ, тесно плававших в огромном аквариуме, на стоявший рядом сачок с крупными ячейками, которым усатый продавец вытаскивал их и, оглушив прежде деревянной колоушкой, взвешивал, положив на чашку тяжелую гирию, чтобы после завернуть в промасленную бумагу. «И рыбы не знают, что их ждет, – думал Модест. – А может, и мы выставлены на продажу?»

Десятилетиями магазин не менялся: казалось, даже сачок с рваной сетью был прежним, и те же рыбы обреченно плавали в аквариуме. «Все проходит, но ничего не меняется, – зайдя за продуктами, каждый раз думал Модест Одинаров. – Мы исчезнем, а все так и останется». Раз он на мгновение задержался у аквариума, и крупная рыба, чуть его не забрызгав, выпрыгнула

из воды, шумно плюхнувшись под ноги. Она ожесточенно билась, оставляя на пыльном кафеле мокрые следы, выскальзывала из рук подоспевшего продавца, пока он не оглушил ее двумя ударами колотушки. «Эта наша свобода», – отвернулся Модест Одинаров.

Была весна, капель стучала по карнизам, разрезая грязный снег, на улицах бежали ручьи. Возвращаясь с работы, Одинаров долго смотрел на оторванную водосточную трубу, круживший под ней дождь, который бил по луже, потом, как был в одежде, встал под него, обжигаясь холодными каплями. Насквозь промокший, он поднялся по лестнице к себе под крышу, сбросил в прихожей одежду, стаптывая ее ногами, и голый бросился к компьютеру. В группе он оставил следующее:

«У начальника заболела секретарша, и в обеденный перерыв он, не отрываясь от бумаг, бросил: «Сварите кофе, дружище». А он вдвое моложе! И почему я не плеснул ему кофе в лицо? Может, взять отпуск?»

Комментарии не заставили ждать.

«Есть на примете хороший психиатр? – интересовался некто Олег Держикрач. – Могу порекомендовать».

«Не тратьте зря нервы, – успокаивал некто Иннокентий Скородум. – Начальство не переделает».

«Правильно, что сдержался, – выразил мнение Раскольников. – Лучше его в подъезде замочить. Научить как?»

Полина Траговец читала и не верила глазам. Мужчина, которого она встречала в лифте, казался ей раньше сильным и уверенным. Но таким, болезненно ранимым и беззащитным, как подснежник, он нравился ей даже больше. Какие могут быть препятствия? Чего она ждет? Полину Траговец снова охватила материнская нежность, ей захотелось постучать в квартиру на последнем этаже, признаться хозяину в любви и, прижавшись к груди, разделить его одиночество. Но ее остановило предупреждение администратора:

«Напоминаю, что в правилах нашей группы значится отсутствие личных встреч ее участников. Конечно, мы не можем этого проверить, но надеемся на вашу порядочность». И Полина Траговец ограничилась словами:

«Все терпят, все подчиняются. До тех пор пока внутри не просыпается человек. Тогда всё посылают к чертовой бабушке, кардинально меня жизнь. Может, ваш час пробил?» Комментарий она подписала «Ульяна Гроховец». На аватару Полина Траговец прицепила стриженную под каре улыбающуюся женщину, фото которой выудила в бескрайних водах Интернета. Та была лет на двадцать моложе, и Полина Траговец даже в ее возрасте не смеялась так искренне, но ее это не смутило – какая разница, как выглядит Ульяне Гроховец, которой нет?

Прочитав ее комментарий, Модест Одинаров вспомнил университет, который окончил с красным дипломом, вспомнил грандиозные планы и не мог понять, почему стал бухгалтером и полжизни просидел в офисе. Он кивал, думая, что ему давно осточертело считать чужие деньги, и снова представлял каштаны, провисший под его тяжестью гамак и домик на море. А чего ждать? Может, плюнуть на работу, продать квартиру и уехать? Модест Одинаров повернулся к зашторенному окну, закрыл глаза и почувствовал щекой легкий бриз.

Полина Траговец и сама не знала, почему так написала Одинарову.

– Холодильник опять пустой, – доносился из-за стены скрипучий старческий голос. – Голодом меня моришь.

– А твои любимые пельмени?

– Они просрочены. Отравить меня хочешь?

Полина Траговец со вздохом одевалась и шла в магазин. А в группе превращалась в Ульяну Гроховец. Здесь ей хотелось быть смелой, раскрепощенной, хотелось отчаянно кокетничать и сорить деньгами. Она представляла себя то светской львицей, то дорогой путаной, кружившей головы знаменитостям, которых видела по телевизору. «Двести граммов колбасы, –

пробивала она в кассе. – И бутылку кефира». А по дороге вспоминала свои восемнадцать лет, длинную девичью косу, которой завидовали одноклассницы, ухажеров, стоявших под окнами с цветами, свое белое платье, кружившееся в танце на выпускном балу, и понимала, что это – воспоминания мертвеца. Сожаление об упущенных годах, проведенных около властной половинной матери, заставляло ее жить фантазией, упрямо играя роль Ульяны Гроховец.

«Я долго была в плену обстоятельств, – писала она, смахивая слезы, капавшие на клавиатуру. – Пока в один прекрасный момент не стала другой, осознав, что жизнь проходит, что она бесценна и судьба находится в моих руках. Бросив все, я уехала в другую страну, без языка, без знакомых, без средств к существованию. Я нарочно выбрала место за семью морями, купив билет в один конец, зная, что денег на обратную дорогу мне никто не даст. Я сожгла мосты, заняв у кого только можно, уверенная, что не верну. Я – дрянь? Возможно. Но жизнь одна! К тому же судьба оказалась ко мне благосклонной, и вскоре я выслала всем деньги. Я написала «судьба»? Ерунда! Я кусалась, изворачивалась, хитрила, как животное, загнанное в угол. И мне удалось. Мы себя не знаем, когда встает вопрос о выживании, в нас пробуждаются неведомые силы. Я меняла мужей чаще, чем любовников, а кавалеров – как перчатки. Я выучила множество языков, забыв родной, о чем совершенно не жалею. Иногда мне приходилось спать на морской пристани, прямо на досках, так что во сне, когда рука соскальзывала в воду, ее обжигали медузы, но чаще она обнимала подушки в пятизвездочных отелях. Я пускалась во все тяжкие – была девушкой по вызову и, продавая тело, торговала заодно наркотиками. Один раз, спасаясь от полиции, я попала в руки бандитов, в другой, убегая от бандитов, я в течение суток сменила пять стран, но в конце концов отдалась под защиту полиции. Обо мне писали газеты, так что к славе я привыкла даже быстрее, чем к безвестности. Сейчас я богата, независима. И всего достигла сама! А знаете, что подтолкнуло меня? Безногий калека! Тысячи раз я проходила мимо церкви, подавая ему мелочь, а тут меня словно пронзило: «Господи, мне же дьявольски повезло, раз я иду по жизни на двух ногах!» Так почему я стою с ним рядом? Почему не ушла далеко-далеко? Может, вам тоже пора?»

Прежде чем поместить комментарий, Полина долго смотрела на экран. Разве в ее истории не видно фальши? Разве секрет, что падчерице никогда не стать золушкой? Чтобы отбросить сомнения, Полина Траговец нажала на кнопку «Опубликовать».

С каждым годом Модест Одинаров делал шаг по лестнице в небо, и ему уже казалось, что он видит все, как мальчишка, залезший на крышу. Мир перед ним лежал как на ладони, в нем все было просто и ясно: сильных любят, слабых топчут, а богатым все можно. Однако в группе он столкнулся с новыми людьми и понял, что видел не мир, а мирок. «Мир огромный, – думал он, – но его не надо бояться». Он стал всерьез размышлять о том, чтобы завербоваться в какую-нибудь дальнюю экспедицию – мыть золото или искать нефть. Иногда, как в детстве, когда разглядывал географический атлас, он представлял, что уедет в жаркие страны, где растут пальмы, и станет охотником на львов. «Какая глупость», – краснел он. А потом снова возвращался в мыслях к забытому богом углу, джунглям или прериям, где видел себя среди скачущих на мустангах туземцев. Ночами по стенам бегали лиловые пятна от дрожавшей занавески, а узкие полоски света от проезжавших машин, расширяясь, вдруг охватывали весь потолок, и Модест Одинаров, глядя на них, видел пылинку, летевшую в необъятных космических просторах. У него прорезался третий глаз, которым он видел своего начальника, тратившего молодость неизвестно на что, видел свою заросшую бурьяном могилу, на которую будет некому принести цветы. Модест Одинаров запускал тогда в стену подушкой, и тишину в его комнате разрезал смех, похожий на звон разбившегося стекла. Засыпал он, когда ночь шла уже на убыль, а утром, тщательно намыливая кисточкой ввалившиеся щеки, так что пена густо стекала на подбородок, видел в зеркале чужое лицо, неподвижное, истрепанное, будто на портрете, исхлестанном ветром, иссеченном дождем и задвинутом в глубь антикварной лавки. Оно проступало словно из тени, бесцветное, тусклое, и только глаза чернели на нем, как угольки.

Модест Одинаров по-прежнему ходил на работу, а прогулки совершенно забросил, вечерами жадно припадая к монитору. Он читал о чужих жизнях, как в детстве примеряя их на свою, делился своим одиночеством, отчаянием, рассказывал о тайных желаниях, которые, облекаясь в слова, становились ясными ему самому, он откровенничал с теми, кто был за тридевять земель, но заменил ему близких.

Однажды бессонной ночью Модест Одинаров долго смотрел на мигавшие за окном звезды, несколько раз ходил на кухню пить чай, а потом, сев за клавиатуру, написал:

«В детстве меня отправили раз в летний лагерь, где я посреди срока сильно простудился. Мне прописали горькую микстуру, постельный режим и отселили в отдельный бокс. Хорошо помню маленькие окна, завешенные от жары марлей, ползавших по ней мух, обои со всадниками, которые скакали вместе с моей температурой, помню доносившиеся крики моих товарищей, гонявших мяч, так что у них не было времени меня навестить. В своей одиночке я чувствовал себя как в зачумленном бараке, став неприкасаемым, наблюдал со стороны жизнь, которую вел еще вчера, – вот пошли строем завтракать, вот лагерь стих, значит, всех повели на реку, вот звучит горн, объявляя тихий час. Выпав из привычного распорядка, как птенец из гнезда, я чуть не плакал, ощущая себя брошенным, забытым, ненужным. Я вдруг стал лишним в счастливом прекрасном мире, от которого был отгорожен стенами изолятора. Иногда мне кажется, я до сих пор из него не вышел».

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Ульяне Гроховец.

«А спорим, что, видя утром твои мокрые простыни, все думали, будто у тебя энурез, а это ты всю ночь плакал, повторяя: «Я неудачник, я неудачник...»?» – написал Раскольников.

Модест Одинаров промолчал.

«У меня бывает сходное ощущение, – поделился Олег Держикрач. – И как вы с ним боретесь?»

Его искренность предполагала ответную, и в приступе откровения Модест Одинаров застучал по клавиатуре, то и дело заливая ее остывшим чаем:

«Признаться, никак, спасает работа, как мельничный жернов на шее».

Дожливой ночью, прижавшись лбом к холодному стеклу, он смотрел на расплывшееся внизу море огней, в котором у него появились знакомые, и гадал, в каком окне они живут, а так как они могли жить в любом, ему становились небезразличны все. Модест Одинаров теперь с особенной ясностью осознавал, что все пройдет бесследно, как капли, стекавшие по стеклу, вспоминал свои юношеские переживания, бесконечно далекие теперь, и не понимал, отчего придавал им такое значение. «Думал о себе много». Он оперся о подоконник, чувствуя, как барабанит по лбу холодный дождь, и видел себя витязем на развилке, которого, пойдя он направо или налево, ждет тупик. «А к чему нерешительность, раз все равно умру?»

За долгие годы Модест Одинаров впервые почувствовал себя будто в семье, о которой всю жизнь мечтал и которую так и не создал, а с Ульяной Гроховец у него завязалась личная переписка. Он поведал ей о своей жизни, она – о своей мечте.

«Вы мне верите? – не выдержала раз она. – Верьте, иначе писать бессмысленно».

«Для меня вы такая, какой представились, – ответил он. – Да и зачем вам лгать?»

Прочитав, Полина Траговец залилась краской. Она уже пожалела, что все это затеяла, но отступить было некуда.

«Вчера прилетела с островов. В самолете так трясло, что, кажется, я до сих пор прыгаю на батуте. Среди кокосовых пальм был у меня очаровательный мулат. Мы занимались любовью по три раза на дню, а ночью прямо в постели, как волки, набрасывались на еду. На мгновение я даже потеряла голову. Страсть опасна, рискуешь испортить жизнь. Не попрощавшись, я упаковала чемоданы и улетела первым же рейсом. Советую и вам почаще наступать себе на горло!»

Так вела себя Ульяна Гроховец. А из Полины Траговец мать сделала безопасного врага, которым забавлялась, как бумажным тигром.

– Ты стала несносной, – дразнила она дочь, помешивая на кухне овощной суп. – Все время перечишь. Убить меня хочешь?

– Что за выдумки, мама.

– Ну, вот опять! Я знаю, ждешь моей смерти, чтобы привести мужчину.

– Это неправда!

– Тогда скажи, что любишь свою мамочку.

– Ты же знаешь, что люблю и мне больше никто не нужен.

Натянув улыбку, Полина поцеловала дряблую щеку, провела ладонью по седым растрепанным космам, а закрывшись в комнате, зарыдала в подушку. Она думала, что ее жизнь прошла, так и не начавшись, бормоча в утешение, что все несут свой крест, оттого что некуда пойти. Дождавшись, пока за стенкой стихнет старческое брюзжание, она включила компьютер и, все еще всхлипывая, написала:

«Главное – не стать жертвой, а для этого не надо жалеть себя».

Это понравилось Модесту Одиарову и некоему Сидору Куляшу.

По утрам Модест Одиаров по-прежнему громко включал радио, до синевы брился, отстукивая по рулю услышанную мелодию, торчал в пробках, а на работе ненавидел начальство. Но день пролетал незаметно, ему удавалось зайти в Интернет и оставить сообщение, так что возвращался он, предвкушая комментарии. После работы он раньше тщательно готовил себе пищу, раскладывая по тарелке мелко нарезанный укроп, жарил стейк или цыпленка, а садясь за стол, вспоминал одно и то же.

– Даже мертвецы высыхают, потому что перестают есть, – кормила его с ложки мать, когда он оставлял еду на тарелке. – От голода они грызут себя изнутри.

– Как мертвецы у Гоголя? – храбрился он, но от ужаса глотал, не разжевывая, большие куски. – У них желтые кости и длинные ногти, мы в школе проходили.

– Вот именно, разве ты хочешь стать таким?

Эта всплывавшая в памяти сцена вызывала у Модеста Одиарова улыбку, расцветавшую кактусом в пустыне его одиночества. И после ужина он засыпал с ней, бросив на кухне грязную посуду.

Но теперь, после вступления в интернет-группу, Модест Одиаров быстро кипятил чайник и, жуя бутерброд, садился к монитору.

«Рядом не всегда близкий, – сообщил он открывшуюся ему истину. – Близкие могут быть и далеко».

«Верно», – подтвердила Ульяна Гроховец.

«Ближние твои враги», – пошел еще дальше Иннокентий Скородум.

Они обменялись смайликами, отметив его пост как понравившийся, и от этого у Модеста Одиарова потеплело на душе.

Кривоzubую проститутку Модест Одиаров больше не посещал, а вспоминая свои визиты к ней, готов был провалиться – ему делалось стыдно за свое одиночество, за дурную привычку, с которой он не расстался в детстве, а перенес во взрослую жизнь, встречаясь без любви. Но теперь все было иначе: выйдя из пустыни, он сбросил, наконец, бремя одиночества и, расправив плечи, почувствовал себя помолодевшим на сто лет. Теперь он все чаще рассматривал глянцево-журналы, предлагавшие недвижимость, которые покупал по дороге на работу. Выбирая себе дом, он представлял, как разошлет приглашение в группу, отметив новоселье с ее членами. «Какими они окажутся? – гадал он, мечтательно листая страницы. – Не разочаруют ли?» И твердо решил не тянуть с покупкой дома. По крышам уже зашагали короткие июньские дожди, асфальт расчертили мелом для игры в «классики», а на подоконниках стали засыхать фикусы, которые по привычке поливали, как зимой. Застряв в пробке, Модест Одиаров через опущенное стекло вяло переругивался с водителем красного автомобиля, как вдруг у него кольнуло в боку. На здоровье он никогда не жаловался и не придал этому никакого значе-

ния. На следующий день боль повторилась. «Срочно сдайте анализы», – осмотрев его, нахмурился врач. Анализы оказались плохими. Модест Одинаров тупо уставился на фонендоскоп, змеей свисавший на белом халате, не понимая, что ему говорят.

– Сколько осталось? – выдавил он одними губами, когда повисло молчание.

Врач развел руками.

– Сколько? – глухо повторил Модест Одинаров.

– Ничего нельзя обещать, если делать химиотерапию, месяца два, три...

Из больницы Модест Одинаров вышел белый как снег, не замечая ни сновавшей детворы, ни чирикавших под ногами воробьев. Дома он осмотрел свои вещи, будто видел их в первый раз, выйдя на балкон, окинул взглядом раскинувшийся внизу город, бушевавшую зелень, пытаясь представить, как все будет, когда его не станет. «Как все буднично, – пробормотал он. – Как все буднично». И вдруг вскрикнул, на мгновенье вообразив, что его уже нет, почувствовав каждой клеткой тела предстоящую ему вечность небытия. Судорожно глотая воздух, он бросился на кухню, хватая без разбора попадавшиеся на глаза предметы и швыряя их на пол. «Какого черта! – задыхался он, багровея. – Почему я?» Он метался как зверь в клетке, готовый зарычать от бешенства и бессилия. Но вскоре им овладела совершенная апатия, будто диагноз касался не его и в больнице был тоже не он, а все это происходило с кем-то другим. Он даже зевнул. «Ну и не станет. Какая разница когда». Эта ровная безысходность вернула его к действительности, он собрал с пола посуду, аккуратно замел осколки на совок, подумав, что накопилось много пыли и надо бы устроить уборку. Потом опять вспомнил, что скоро умрет, что не будет ни моря, ни каштанов, ни гамака в крупную клетку, но на этот раз мысль не пронзила, не обожгла, а лишь тупо засвербила, будто комар в ночи. Он подумал о том, что делают в таких случаях. Рассчитываются с долгами? Но их у него не было. Составляют завещание? Но кому? Этот вопрос погнал его к компьютеру.

«А вот если бы я серьезно заболел, – предложил он тему для обсуждения. – Чем бы вы помогли? Что бы посоветовали?»

Он хотел добавить про наследство, но в изнеможении повалился на кровать. Во сне он увидел себя ребенком: мать выносит на веранду пыхтящий самовар, в саду ядовито желтеют одуванчики, а он слушает гудение шмеля, заблудившегося в ржавой брошенной лейке. Сон был такой явственный, отчетливый, что, пробудившись, он еще долго не мог понять, где находится, разглядывая засаленные обои с чередовавшимися цветами, думал, что, возможно, скоро опять попадет в свое детство, вспоминал родителей, у которых много лет не был на могиле. А потом поднялся к компьютеру.

«Деньги вышлю, – откликнулся Иннокентий Скородум. – По какому адресу?»

«Если болезнь смертельна, не тяни, – посоветовал Раскольников. – Пистолет дать?»

«А что вы от нас ждете? – в лоб спросил Сидор Куляш. – Сначала определитесь».

«Надеюсь, это лишь предположение?» – откликнулась Ульяна Гроховец.

Полина Траговец, прочитав обращение Одинарова, не поверила глазам. Ей было невыносимо думать, что это не пустое предположение, что крепкий мужчина, который каждое утро садится в машину, болен.

«И всё?» – криво усмехнулся Одинаров. Его корреспонденты вновь стали бесконечно далекими и чужими. Он вдруг вспомнил, как на экзамене подглядывал через ладонь к соседу и как заметивший это учитель пошутил: «Одинаров, каждый умирает в одиночку!» «Каждый умирает в одиночку», – повторял ночью Модест Одинаров, разглядывая в углу блестящую в лунном свете паутину. Стиснув подушку, он громко всхлипывал, пугая шуршащих на чердаке мышей. На другой день он позвонил на работу.

– Нездоровится? – деревянным голосом переспросил начальник, губы которого треснули, как жареный каштан. – Надеюсь, скоро поправитесь.

У Модеста Одинарова мелькнуло желание высказать все, что накопилось за годы, но вместо этого он глухо произнес:

– Ищите замену.

Начальник повесил трубку, а Модест Одинаров еще долго слушал гудки.

Вставал Модест Одинаров по привычке ранним утром, когда на улице ширкали метлами дворники, но уже не брился, обрастая колючей седой щетиной. Из дома он тоже не выходил, кормил теперь голубей на балконе – выставив табурет, сорил под ноги хлебные крошки, которые птицы клевали, неуклюже перепрыгивая через его стопы, – но мысль о том, что после его смерти они будут так же ворковать, гадить и, трепеща крыльями, совокупляться, была нестерпимой. Он резко поднимался, едва не задевая испуганно взлетевших птиц, и закрывал за собой балконную дверь.

Прошла неделя, и жизнь брала свое – Модест Одинаров ел, спал, будто впереди у него были годы, забывая про болезнь, смотрел с балкона на красивых длинноногих женщин, на цветы, изнывавшие в кадках от жажды, на дорогие машины, плывшие в облаке летнего зноя и обжигавшей пыли. Облокотившись о загаженные голубями перила, он с улыбкой представлял Ульяну Гроховец, проводившую отпуск на далеких тропических островах, думал, что в их отношениях, как и в любом эпистолярном романе, было что-то обещающее, загадочное, придававшее им особое очарование, ни с чем не сравнимый шарм. А потом вдруг все вспоминал. Модест Одинаров давал себе слово, которое каждый раз нарушал, – не трогать пальцами левый бок, но даже во сне его рука тянулась к желтевшей, мокрой от пота коже, скрывавшей источник боли, и он, еще не пробудившись, нащупывал опухоль, вздрагивая, будто внезапно услышал скрип земной оси, требовавшей смазки и грозившей повернуться, выпасть из державших ее шарниров. «Господи, помоги, господи, помоги...» – встав на колени возле оконной батареи, шептал он в звездное небо. А потом вдруг вспомнил, что не верит, что никогда раньше не молился и в церкви был только в раннем детстве. Перед ним проплыла вся его жизнь, растоптанная юность, брошенные начинания, предстало все, что не сделал, до чего не дошли руки. «Начну все заново, – давал он слово. – Если выживу, начну все заново». Но Модест Одинаров знал, что начинать заново на земле никому не позволяют, а если бы ему и позволили, то свое слово он бы не сдержал. Про живших когда-то он раньше думал: «Мы и они», про современников: «Я и они», а теперь вдруг осознал, что нет никаких «они», а со времен Авраама был только он, Модест Одинаров, знавший, что должен умереть. Теперь он ясно увидел себя со стороны – заезженная рабочая скотина с расшатанными нервами и увеличенной печенью, изо дня в день решавшая финансовые головоломки, которые имели косвенное отношение к его жизни, – деньги. Деньги, которые он считал согласно правилам математики, умножаясь у других, никак не хотели укладываться в его карман, точно тот был дырявым, оставаясь колонками цифр на холодном, мертвенно мерцавшем экране. На это занятие были потрачены лучшие годы, а теперь опухоль поставила крест на сухой арифметике, наполнив его существование настоящей жизнью с ее болью, страданием и страстной борьбой, как весенний ручей наполняет пересохшее русло.

Поначалу Модест Одинаров думал, что его смерть вызовет переполох, сдвинет его мир с привычной оси, а все происходило отвратительно буднично. В квартире зазвенели склянки, запахло аптекой, на столе заблестели шприцы, которые оставляла строгая медсестра, делавшая уколы.

– За всю жизнь столько не кололи, – пробовал шутить Модест Одинаров.

– Ну, когда-то надо начинать, – бесстрастно подыгрывала она.

Медсестра была бледная как смерть и перед уходом поправляла в зеркале тонкие, составившиеся раньше времени волосы. Провожая ее, Модест Одинаров находил в себе силы улыбнуться:

– До завтра.

– До завтра, – эхом отвечала она, стуча каблуками по лестнице.

А когда медсестра уходила, на Модеста Одинарова наваливалась тоска, он не понимал, зачем тянет, почему, будто мальчишка, подчиняется врачам, не в силах даже под конец преодолеть инерцию жизни.

«Может, и прав Раскольников? – думал он, свесившись с балкона. – Чем хрипеть по ночам, один только шаг».

И снова приходила медсестра, растягивая пытку, и снова наступали часы, заставлявшие каждое мгновение переживать смерть. Теперь он все больше времени проводил на постели, растянувшись в грязной, нестираной одежде, измученный бессонницей, уже не разбирал времени суток, устав решать, чего боится больше – ночей или рассветов, и перед ним все явственнее проступало прошлое, которое он теперь видел с изнанки, понимая, почему оно кроилось так, а не иначе. Перестав быть загадочным, прошлое утратило прелесть, как чудо, оказавшееся нехитрым фокусом. Модест Одинаров вспоминал спившегося однокашника, который держал бутылку одними зубами, точно пытался перекусить ей горло, бывшую жену, ее нового мужа, непрестанно крутившего в руке теннисный мяч, вспоминал кривозубую проститутку, молчаливого лысоватого начальника, и эти люди были уже неотличимы от его виртуальных знакомых, приобретенных в группе, как и всплывавшие в памяти картины – дача с желтевшими одуванчиками, летний лагерь, где он заболел, – стали неотделимы от увитого плющом домика на морском берегу, который рисовала ему мечта. «Все – сон», – думал Модест Одинаров, и эта мысль, неотвязная, как мышьяная возня на чердаке, грызла щель в его сознании, заставляя стискивать зубы. Есть он перестал – зачем кормить опухоль? – и в обвисшей одежде стал походить на вешалку с узкими плечиками, а шаркая в уборную стоптанными тапочками, больше не задерживался у зеркала, боясь увидеть, как за его спиной там причесывается бледная медсестра, похожая на смерть. И перед ним все чаще вставала одна и та же сцена из детства. Посреди двора мать рубит голову курице, по-женски зажмурившись и отведя от себя руки, чтобы не измазаться кровью.

– Мама, мама, – тащит он ее за подол, когда она, швырнув куриную голову скулившей рядом собаке, вытирает о фартук окровавленный нож. Склонив набок пасть, собака жадно грызет голову, прижимая ее лапой, а курица беспорядочно бьет крыльями, бегая по двору.

– Пусть кровь спустит, – говорит мать, перехватив его взгляд. Она убирает нож в карман и достает горсть зерна. – Хочешь пока покормить птичек?

С забора уже соскакивали куры, толкая друг друга, лезли под ноги.

В обед Модест пил мутный бульон, в жировых блестках которого ему мерещились куры, клевавшие зерно, когда их безголовая соседка металась по двору.

И другие картины всплывали в памяти долгими бессонными ночами, когда он лежал, уставившись в потолок. В Рождество в доме царило радостное оживление, наряжали душистую с мороза елку, а на святках мать гадала на Библии, водя по бумаге шершавым пальцем, которым потом, поплевав на подушечку, тушила свечу, и теперь Модест Одинаров тоже попытался прочитать судьбу – с закрытыми глазами подошел к книжной полке, протянув руку, на ощупь вытянул какой-то толстый фолиант и раскрыл наугад. Строчка, в которую уперся его взгляд, заставила сильно забиться его сердце: «Но – странное дело – все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия». Это был рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Модест Одинаров отшвырнул книгу.

В группу он больше не заходил, однако часто вспоминал попутчиков, оказавшихся в его последнем поезде. Он представлял, как они будут скрашивать одиночество, демонстрируя обманчивую готовность подставить плечо, точно распластавшиеся на воде кувшинки. И вдруг понял, что они были его провожающими, а в ночь, когда его уже не добудиться, продолжат спать, зарывшись в подушки. Зыбкая, искромсанная тучами луна осветила его согнутую

фигуру – подвернув под себя ноги, Модест Одинаров сидел за компьютером, сочиняя гневные инвективы, на которые способен только глубоко обиженный человек, жестоко обманувшийся в своих чувствах, он обличал, стыдил, поведая о своем трагическом ощущении жизни, полностью подчинившем его в ожидании близкого конца, заклинал не вводить других в заблуждение мнимой дружбой, которая не принесет ничего, кроме горького разочарования. Он писал убедительно, взяв в сообщницы смерть, которая подбирала за него слова. На это занятие, вернее на то, чтобы его представить, ушли последние силы, и, едва дотащившись до постели, он грохнулся на смятые, пропахшие потом простыни. Уснуть он не смог. Ему вдруг опять стало казаться, что умирает не он, а кто-то другой, его брат-близнец, а он по-прежнему ведет жизнь отшельника, упиваясь одиночеством, поглощая дни вместе с макаронами на ужин и ночными кошмарами. К действительности его вернул резкий запах. Он ударил в нос, проникнув в мозг, сверлил там, как крот, огромную дыру, он исходил от его грязного, заживо гниющего тела, и Модест Одинаров понял, что его двойником был покойник, с которым он скоро сольется в одно целое, как с отражением на зеркальном пруду, бросившись в холодную воду, отправившись в мир призрачных путешествий, мир, который рисовало ему воображение ребенка, – без боли, неизбежных расставаний и довлеющего, как земное притяжение, долга.

– Модэ-эст, – позвали его в темноте, точно мать, с которой он в детстве играл в прятки. – Ты готов?

– Иду, – твердо ответил он, раздвинув слипшиеся веки, и тотчас зажмурился от невыносимого света.

Последняя запись Модеста Одинарова в группе была короткой и показалась многим бессмысленной:

«Провожающий – не попутчик!»

Прочитав этот пост, Полина Траговец захотела подняться на последний этаж. Но опять не решилась. В тот же день в Интернете исчезла личная страница Модеста Одинарова. А назавтра, возвращаясь с работы, Полина Траговец увидела дежурившую у подъезда «Скорую». У нее екнуло сердце. Она проскочила три ступеньки и чуть не вскрикнула, поднеся ладонь ко рту, когда в дверях столкнулась с носилками. Хмурые, сосредоточенные санитары несли под простыней того, кто был Модестом Одинаровым. Полина опустила на ступеньку и долго смотрела на то место, с которого отъехала «Скорая».

– Говорят, повесился, – встретила ее мать.

– Кто?

– Жилец с верхнего этажа. Тот, который превратил балкон в голубятню. И куда спешил, все там будем.

Полина заперлась в комнате. Она чувствовала себя вдовой, которой оставалось носить траур, поливая слезами чахлые, засыхавшие на подоконнике фикусы. Не выходя замуж, она словно прожила долгую семейную жизнь и теперь совершенно не представляла, что будет делать, оставшись одна. Дальнейшее пребывание в интернетовской группе казалось ей абсолютно бессмысленным, она уже хотела навсегда ее покинуть, как дурной сон, забыв свою неудавшуюся затею, но тут ей пришло в голову иное: она решила сделать вид, что ничего не случилось, скрыв исчезновение Модеста Одинарова.

«Конечно, моя болезнь – лишь простое предположение», – оставила она сообщение под ником «Модэст Одинаров», изменив в имени одну букву. Это было последнее, что она могла сделать для Модеста Одинарова, – продлить его виртуальную жизнь, раз не решилась устроить настоящую.

«Сменили ник?» – поинтересовались в группе у Модэста Одинарова.

«Имидж надо обновлять», – отшутилась она.

Мертвые души

Женщину свободных нравов Полина Траговец изображала убедительно, и многие приняли ее игру. Но нашелся один, который ей не поверил. Проницательность была частью его профессии, и приключения Ульяны Гроховец вызвали у него улыбку. Иннокентий Скородум был писатель, и для своей интернетовской аватары взял картинку: перо, опущенное в чернильницу.

«Это псевдоним, – признался он. – Я достаточно известен, чтобы скрывать имя. Зачем я здесь? На то есть две причины. Во-первых, мне хочется говорить от себя, не прячась за литературных героев. Это делает речь определеннее и категоричнее. Во-вторых, напиши я в книге то, что могу высказать здесь, ее не купят. Человек должен посадить дерево, построить дом и написать книгу. Книг у меня много, на гонорары я купил дом, а за деревьями у меня следит садовник. Но что должен человек поведать в книге? То, что понял о жизни? Когда-то я был уверен, что родился для того, чтобы ответить на вопросы «зачем живу?» и «как устроен мир?». Но в моих книгах вы не найдете ответа. Иначе бы их не печатали. На заре моей писательской карьеры один старый издатель, возвращая мне рукопись, сказал:

– Поймите, юноша, за свои деньги человек хочет услышать, что он не тварь дрожащая, а право имеет и звучит гордо. Вы тычете людей в их ничтожность, а им необходимо верить, что их время – лучшее из времен и они гораздо счастливее ушедших.

– Но я пишу правду!

– Да кому нужна ваша правда!

И тут я прозрел. Я понял, что истина – это футбольный мяч, который отнимают, чтобы забить в твои ворота. Она улетает от того, кто сильнее, но и слабому не приносит ничего, кроме разочарования. И тогда я стал врать. Врал в каждой букве, врал, как дышал. Герои моего черно-белого мира были как монеты, у которых всего две стороны: кому-то выпало творить зло, кому-то его побеждать. Я завел дружбу с влиятельными литераторами, такими же бездарностями, всех хвалил, никого не ругал, заигрывал с критиками, и вскоре мои книги пробились к прилавку. Но перечитывать их для меня стало тяжелым наказанием, сравнимым разве с их написанием. Я презираю читателя, мне плевать на человечество и надоело притворяться. Здесь, в группе, мне хочется быть тем, кто я есть. Кстати, Ульяна Гроховец, от вашей истории с мулатом несет феминистской литературой».

«Иннокентия Скородума» звали Авдей Каллистратов. Он жил в доме с консьержкой, в старой холостяцкой квартире, пропахшей табаком, кофе и книжной пылью, в окружении картин и зеленевших бронзовых статуэток, подаренных благодарными поклонниками. Годы давили, как горб, и Авдею Каллистратову было все тяжелее выползть из зимы. Глядя на грачей, облепивших деревья, Авдей Каллистратов вспоминал, что Саврасов, которого он уже пережил, спился, что впереди дачный сезон, когда можно будет отдохнуть от бесконечных выступлений, звонков и змеиных улыбок. «Возьму Дашу, – думал он, – в последнее время ходит бледная». Даша была аспирантка, защищавшая диссертацию по его творчеству. Их связь длилась уже третий год, Даша мечтала о замужестве, а Авдей Каллистратов, как опытный сердцеед, поддерживал в ней надежду, которой не давал перерасти в уверенность. По-своему он любил Дашу, роман с ней льстил его самолюбию. Но его раздражала ее молодость, ее звонкий смех и беспричинное веселье напоминали ему о возрасте. Эта преграда была непреодолимой, но Даша о ней не догадывалась. Делая карьеру, Авдей Каллистратов научился скрывать чувства. А может, они давно умерли? Задавая этот вопрос, он морщился, тянулся за сигаретой и отправлялся в Интернет сливать желчь. Об этом его увлечении Даша не знала. «Потом вставит в мемуары», – время от времени порывался он посвятить ее в свои тайные откровения, но каждый раз откладывал из суеверного страха приблизить это «потом».

«Думаете, мои книги хуже других? – продолжал он свою исповедь. – В юности, когда мне еще приходили подобные вопросы, я открывал современные бестселлеры, и после нескольких страниц мои опасения рассеивались. «А классика?» – спросите вы. Так со временем и я стану классиком! Или вы считаете, что в историю входят лишь гении?»

«А зачем вам известность? – спросила некая Зинаида Пчель. – Разве не для того, чтобы пропагандировать свои книги и нести Слово?»

«Слово? Какое еще Слово! Известность дает право писать всякую галиматью, чтобы критики, как в пятнах Роршаха, находили в ней гениальное. Они мастера гадать по кофейной гуще, эти критики, они-то и донесут, что достойно внимания. Так и движется литературный процесс».

«Похоже, вы просто исписались», – подвел черту под его признанием Олег Держикрач.

«Ваше право не верить мне, а мое – вам! – парировала выпад Авдея Каллистратова Ульяна Гроховец. – И что за рецепты в ваших книжонках? Каждый ведь по себе мерит: гинеколог-мужчина посоветует больше заниматься любовью, а увядшая женщина-гинеколог – стать монашкой».

«Вы известный писатель? – издевательски переспрашивал некто Сидор Куляш. – Так это всего лишь тот, кого чаще показывают по телевидению».

Это понравилось Сидору Куляшу.

«Вы отказываете читателям во вкусе? – оскорбилась Зинаида Пчель. – Уж как-нибудь разберемся, что хорошо, что плохо. Или считаете, может понравиться дерьмо?»

Прочитав ее комментарий, Авдей Каллистратов усмехнулся и тут же сочинил ответ:

«Однажды в гостях меня спросили:

– Ты копрофаг?

– С какой стати! – возмутился я.

После этого хозяева, сухо простившись, выставили меня за дверь. На другой день на работе об этом завел разговор начальник. Но я был уже настороже и ответил уклончиво. «Знаешь, я говнюков сам недолюбиваю, – похлопал он меня по плечу. – Но современный человек должен быть терпимее». Телевизора у меня нет, газет я не читаю. А тут купил глянце-вый журнал. «Десять аргументов в пользу копрофагии, – пестрели заголовки. – Копрофагия – это модно!» Я прочитал статью «Мои ответы копрофобу». Она показалась мне убедительной. Обычно я ем дома, а тут из любопытства зашел в ресторан. Мне сразу предложили «Гуано по-тайски», «Копро классическое» и совсем уж экзотическое «Экскременты ископаемого ящера с островов Зеленого Мыса». Изощряясь в эвфемизмах, официант рекомендовал «Верблюжьи лепешки» и «Овечьи кругляшки». Я почувствовал тошноту.

– Так это же кал и навоз.

– И что? Едят же ласточкины гнезда. Важно, как подать: лягушку, червяков или стухший сыр.

А по телевизору в углу показывали ток-шоу. «Уринотерапия или копрофагия? – обращался ко мне ведущий. – Ложное противопоставление – у каждой есть свои поклонники. И это естественно, потому что каждая имеет свои преимущества». Я заказал гуано. Преодолевая отвращение, ковырнул вилкой. Вокруг демонстрировали завидный аппетит, поглощая килограммы копро. На меня стали коситься. И мне пришлось поддержать компанию. Выйдя, я увидел мир в ином свете. «Дай волю чувствам!» – присев на корточки, призывала с рекламного щита полуголая красотка. А вскоре около моего дома открылся клуб «Геморрой». Побывав в нем раз, я стал там завсегдатаем. Что меня привлекло? Честно говоря, я остался равнодушен к музыке «в стиле копро», а вот стриптизерши в грязных коричневых купальниках «а-ля золотарь» привлекли внимание. Классные девчонки! Я провожу вечера в их компании за блюдом превосходного копро. Так копрофагия прочно вошла в мою жизнь. Теперь в сортах испражнений я разбираюсь не хуже, чем в марках спиртного. У меня появились друзья. Нас объединила

копрофилия. Мы даем отпор копрофобам, которых, к счастью, становится все меньше, и слушаем лекции по копрологии в созданной недавно «Школе стула».

– Дамское копро – это смак! – покоряю я женские сердца. – Если у нас родится сын, мы назовем его Копронимом в честь византийского императора.

– А был такой?

– Конечно, нашей страсти тысячи лет!

Из лексикона я исключил «говно», «гадить», «срать», заменив их «фекалиями» и «наложить кучу». Что ни говори, латынь облагораживает. За «говноеда» я уже не одного привлек к суду. «Копрофагия экономична, экологична, эстетична, – просвещаю я начальника. – И кролики копрофаги. И обезьяны. Не будь консерватором, за копрофагией будущее!»

Теперь я питаюсь дерьмом.

Вы – нет?

А может, вам это только кажется?»

«Я – нет! – откликнулась Ульяна Гроховец. – И вы меня не убедили! А что, у вас все книжки про дерьмо?»

«Возможно, – подключился Модест Одинаров. – Но раз этого не осознаю, то этого и нет».

«Не ем и не буду!» – заявил Раскольников.

«Будешь-будешь, – подмигнул ему смайликом Сидор Куляш. – За обе щеки станешь наворачивать». А через час добавил: «Главное в современном искусстве – это привлечь внимание. Тогда произведение попадает историю, цена на него взлетает, хотя бы оно было и куском дерьма. Его истинная стоимость – ничто, стоимость прикованных к нему взглядов – все!»

Это понравилось Иннокентию Скородуму.

К бунтарским признаниям Модеста Одинарова Авдей Каллистратов отнесся скептически. «В офисах так не чувствуют, – скривился он, представляя одинокого бухгалтера, кормившего на бульваре голубей. – Там вообще некогда размышлять». Интеллектуальное превосходство, которое ощущал в себе Авдей Каллистратов, с возрастом вылилось в жестокую мизантропию, ему казалось, что у окружающих нет своих мыслей, а голову они носят, как испорченные, остановившиеся часы, из которых время давно вытекло. Такое же впечатление сложилось у него и о Модесте Одинарове. Авдей Каллистратов живо вообразил себе осторожного, как рак-отшельник, человека, предусмотрительно высчитывавшего последствия на много шагов вперед, так что даже книгу читавшего задом наперед – сначала заглядывая, чем все закончится, потом с чего же все началось, точно оценивая, стоит ли тратить на нее время.

Достав записную книжку, с которой не разлучался даже ночью, Авдей Каллистратов сделал литературный набросок, предполагая вставить его в будущий роман: «Эта обратная перспектива, этот обратный отсчет времени распространялся у Модеста Одинарова буквально на все – завязывая знакомство, он уже представлял, как расстанется, а приготавливая обед, думал, как тот отразится на кишечнике, и давно смирился с тем, что внимания на него обращают не больше, чем на пластмассовый стаканчик, из которого пьют в городской забегаловке».

Написав это, Авдей Каллистратов вдруг подумал, что и сам очень похож на человека в футляре. «Все выстраивают карточный домик, в котором проводят дни, – оправдывал он себя. – А чуть дунешь – он разваливается». Эта мысль пришла к нему после сообщения Модеста Одинарова о болезни, к которому в отличие от предыдущих его постов он отнесся всерьез и которое вызвало у него сочувствие. Но чем он мог помочь?

Авдей Каллистратов вспомнил, как в юности охотился на слонов в африканском буше. На закате он выследил небольшое стадо и подстрелил молодого самца. Тот упал, но снова поднялся, жалобно трубя. Передвигаться он не мог – пуля задела позвоночник – и, мотая хоботом, топтался на месте. К нему тотчас подошли два других гиганта и, точно охранники, встали по бокам. Хлопая ушами, они старались поддержать его туловищами, пытаясь защитить от опасности, которую выискивали по сторонам маленькими злыми глазками. Так они простояли всю

ночь. Наконец, на рассвете раненый слон свалился. Но и тогда его охранники не подпустили к бивням, забросав тело хворостом, точно похоронив. «Мы так же бессильны, – думал Авдей Каллистратов, щелкая мышью и закрывая сайт группы. – Несмотря на всю нашу технику, мы способны лишь оплакивать. Впрочем, мы не делаем и этого».

Он сидел в кабинете, разглядывал нависавшие, как скалы, книжные полки и, потирая седые виски, думал, что все прочитанное им относится к истории всеобщей беспомощности, а все написанное – к области праздных наблюдений. Потом позвонил Даше, услышав звонкий голос, повеселел, стал шутить, а под конец пригласил ее на авторский вечер, который должен был состояться в Доме литераторов по случаю его юбилея.

Авдей Каллистратов слегка прихрамывал и на торжественные мероприятия брал трость с массивным набалдашником из слоновой кости. Из дома он вышел пораньше и, стуча тростью по тротуару, притащился на свой юбилей, как раз чтобы, встречая в вестибюле, провожать в зал. В красном джемпере и потертых джинсах Даша выглядела сногсшибательно, так что на нее смотрели чаще, чем на сцену. В президиуме сидели известные писатели, за долгую жизнь научившиеся говорить с трибуны, думая о своем. Они были того же возраста, что и Авдей Каллистратов, седые, бородатые, дети одного поколения, которое никак не хотело уходить. «Куда им до старых мастеров, – косились они на молодых. – Ни глубины, ни стиля».

Зал был полон, так что Авдей Каллистратов остался доволен, выступавшие передавали микрофон, не поднимаясь со стульев, говорили о его творчестве, внесшем несомненный вклад в литературу, о том, как давно знают юбиляра, незаметно перетягивая одеяло на себя. «Помню Каллистрата Авдеева еще зеленым юнцом, – тряс всклокоченной бородкой лысоватый старик, под которым скрипел стул. – Я тогда работал главным редактором, и он, выложив на мой стол тощенькую рукопись, небрежно бросил: «Напечатав это, вы оправдаете свое положение». – В зале засмеялись, а Авдей Каллистратов не знал, куда себя деть. – Все мы знаем, каково писать в стол, и я решил избавиться от этого юное дарование. Помнишь, Каллистрат?» Авдей Каллистратов отчетливо помнил свой визит. Он держался уверенно, потому что пришел «по звонку», а получив отказ, прежде чем хлопнуть дверью, бросил: «Под одним кресло ходуном ходит, а он и не чувствует». Через месяц его опубликовали. Взяв микрофон, Авдей Каллистратов поднялся, уронив при этом лежавшую на коленях трость, и первым делом поблагодарил собравшихся. Коснувшись вскользь своего долгого служения искусству, он перечислил собратьев по перу, скромно вплеп в их список и свое имя, а потом заговорил о гражданской позиции, долге художника и национальном самосознании. Несколько раз его прерывали аплодисменты, но опытные уши Авдея Каллистратова уловили, что в зале берегут ладони. Многие в президиуме уже клевали носом, и он понял, что пора сворачиваться. «Народ, не осознающий себя народом, обречен на вырождение, – закончил он с пафосом. – И мы, писатели, обязаны способствовать его сплочению!» На последовавшем за этим банкете все считали своим долгом обнять юбиляра, и Авдей Каллистратов, нацепив одну из своих бесчисленных улыбок, подбирал каждому нужные слова.

– Как точно ты заметил про писательское предназначение, – растрогался один его старый знакомый, зимой и летом ходивший в сапогах. – Хранить народные традиции, приумножать и...

Он на мгновенье сбился, переводя дыхание.

– И быть их верным продолжателем, – помог Авдей Каллистратов.

– Точно!

– А вы только посмотрите, что с языком нашим делают, – скоро ирокезским станет! – подошел к ним другой, с рюмкой, зажатой двумя пальцами. – До чего дошло – в самый его корень, в алфавит латиница проникает! – Протянув руку, он взял со стола блюдце с нарезанным лимоном. – Представляете, видел в городе вывеску: «Зэ бассеин», с двумя кривыми «s» в середине – только перечеркни, и выйдет знак доллара!

– Глобализация, – переменяв улыбку, чокнулся с ним Авдей Каллистратов так сильно, что капли перелетели в его рюмку. – Только идет она в одну сторону.

– Вот именно, что-то я кириллицу внутри слов в Америке не встречал, там не дураки свой язык убивать. – Он опрокинул рюмку, на мгновение охрипнув. – Лимона?

Авдей Каллистратов положил в рот кислый ломтик, поморщившись то ли от него, то ли от пришедшей ему мысли:

– Скоро и Толстой станет писателем мертвого языка, вроде Сенеки.

– Не позволим! – топнул писатель в сапогах, так что каблуком едва не пробил пол. – Пока живы, не дадим в обиду Льва Николаевича!

– Конечно, – бросив взгляд на часы, рассеянно кивнул Авдей Каллистратов. – Надо что-то делать.

В тот вечер он был нарасхват и, переходя от столика к столику, набрался быстрее, чем ожидал, при всех обнял Дашу, а перепутавшего его имя старика, которому растолковали ошибку и который полез с извинениями, поцеловал в лысину. Ему казалось, что все его любят, что время на его часах идет медленнее, чем у других, так что он еще всюду успеет...

По возвращении домой Авдей Каллистратов был все еще сильно пьян. Даша поехала к себе, чем сорвала его планы, посеяв в душе смутное недовольство, и в собеседниках у него оставалась только группа.

«Народов давно нет, – быстро набросал он. – Есть потребители, которые на одно лицо, что в Европе, что в Азии. И ничего с этим не поделат! Национальная идея? К черту! Она не доводит до добра, в чем убедили две Мировые. А после атомной бомбы человечество находится на грани самоубийства, от которого его спасает лишь деградация. Кто мы? Плесень, намазанная на земной шар, как масло на хлеб. Мы – это печень, селезенка, желудок. Разве можно влиять на них? Это они существуют, это они диктуют нам правила, которые мы выдаем за судьбу. Дни мои все короче, а годы длиннее, но я по-прежнему не могу назвать дураков дураками. Почему?»

Мгновение подумав, Авдей Каллистратов прицепил грустный смайлик и, не раздеваясь, бросился на кровать.

«Человечество, как степная трава, – отозвался Раскольников, – после пожара гуще растет. Так что войны бояться не надо».

«Мне тесно в своей стране, душно в своем времени», – признался Модэст Одинаров.

Группа была открытая, заходили в нее и тролли.

«Давно из дурки?» – написал один.

«И чё? – ужалил другой. – Теперь и не жить?»

«Хрен через плечо! – защитил его третий, выставив целый ряд смайликов. – Афтор не по-детски жжот!»

Прочитав утром комментарии, Авдей Каллистратов промолчал. Он был не силен в интернетовском новоязе и больше всего на свете боялся выглядеть смешным. Вместо того чтобы кормить троллей, он написал: «Все сегодня пишут так, будто что-то скрывают, и это что-то – ваша смерть. Ее прячут не хуже кощеевой на кончике острого, как игла, пера».

Дом был старый, в нем, как ноющие кости, по ночам пели проржавевшие трубы, а после дождя пахло сыростью. После вчерашнего банкета Авдея Каллистратова мучила головная боль, он принял таблетку аспирина и подумал, что, как и дом, давно пережил себя. Потом, чтобы чем-то заняться, заполнил личную интернет-страницу: работа – тунеядец, семейное положение – «в отношениях», политические взгляды – нигилист. Подумав немного, добавил «убежденный». Авдей Каллистратов просидел за компьютером до обеда, отлучаясь только в уборную, где старался не попасться себе на глаза в зеркале; головная боль уже успокоилась, он ждал, как лев в засаде, с кем бы сцепиться, но комментарий так и не последовало.

Кроме общения в группе у ее участников была и своя личная интернетовская жизнь. Зачастую они обновляли свой статус, не публикуя изменения в группе, заводили друзей на стороне, а в ней даже не со всеми числились в дружеских отношениях. Запросы на добавление в друзья Авдей Каллистратов систематически отклонял, считая, что с него вполне достаточно реальных знакомых, которыми был сыт по горло. Группа интересовала его лишь как трибуна, виртуальная кафедра, с которой можно в одностороннем порядке изливать желчь, а выслушивать чьи-то жалобы в его планы не входило. Его оппоненты оставались для него лишь персонажами виртуальной игры, в сущности, он не представлял их живыми людьми со своими чувствами, мыслями и болью, как никогда не задумывался о своих читателях. Первые существовали для того, чтобы слушать его речи, вторые были обречены поглощать его книги.

Пасха выдалась поздней, после церкви, в которой поставил свечи родителям, Авдей Каллистратов уехал на дачу. Природа уже буйствовала, невероятная могучая сила пробуждала все вокруг – у распустившихся бутонов кружились шмели, порхали бабочки, а между норами возле дома сновали мыши. Даша приехала через месяц, в легком ситцевом платье, с дороги свежая, порозовевшая. Авдей Каллистратов отметил про себя, как она похорошела. Держась за толстые морские канаты, он раскачивал ее на качелях, устроенных под веткой разлапистого дуба, она хохотала, взлетая все выше и выше, пока не захватило дух и не закричала:

– Хватит, хватит!

– Проси пощады! – с деланой суровостью ответил он, любуясь коленками под задравшимся платьем.

– Ни за что! – соскочила Даша в его объятия. – Сам проси, негодник!

Она крепко его обняла, и он едва не задохнулся в поцелуе. А вечером они пили чай с крыжовенным вареньем, отмахиваясь ветками от зудевших комаров, и были на седьмом небе.

Авдей Каллистратов числился литературным генералом, входил в жюри престижных премий, и к нему приезжали обсуждать их номинантов. «N или M? – перебрал список, подводил черту критик с маленькой, змеиной головкой. – За N просит Чернобай, за M – Синеглаз». Авдей Каллистратов доставал коньяк, разливал по пузатым рюмкам, и пока шло обсуждение, бутылка пустела. Они, как саперы на минном поле, осторожно взвешивали все за и против, прежде чем вынести решение. При этом кандидаты находились в равных условиях, критику не захотелось тащить их книг, и они так и не открыли ни того ни другого. Проводив критика до калитки, Авдей Каллистратов долго тряс ему руку, точно скрепляя какой-то тайный договор, вернувшись в дом, убирал бутылку под стол, доставал из холодильника моченое яблоко, которое жевал на ходу, чтобы протрезветь. А потом звонил Чернобай или Синеглаз, и он понимал, что поставил не на ту лошадь. Владельцы крупнейших издательств, поделивших рынок, они учредили премии, которые давали своим, – речь шла о дополнительной рекламе. После разговора Авдей Каллистратов выбрасывал огрызок, который держал вместе с телефоном в одной руке, пока другой рубил воздух, звал Дашу, выплескивая на нее раздражение, а если ее не было, залезал в Интернет. В такие моменты он особенно остро чувствовал себя свадебным генералом и клял весь белый свет.

«Посмертная слава сегодня никому не нужна, всем подавай прижизненную! И памятники сегодня рукотворные, и народную тропу к ним сами прокладывают. Современная литература, как и все, делается ногами, зубами и локтями. Бегают по редакциям, хлопчут, суется. Тут – встреча с читателями, там – телевидение. Мы – профессионалы, нам не до музыки! И десять лет писать роман нам никто не даст! – Каллистратов отбил абзац. – Музыкантам и живописцам легче – их язык не стареет, не надоедает, его можно слушать бесконечно. А книга? Одноразовый шприц! Вот издатели и задирают нос: «Евангелие-то любой напишет, а кто разнесет о нем благую весть?»»

«Тоже мне, удивил, – спустя полчаса ответил Сидор Куляш. – И Христос – бренд, вроде кока-колы».

«Злобствующая бездарность!» – пригвоздила Ульяна Гроховец.

«Если всем недоволен, почему не бросишь?» – спросил Раскольников.

«Пойти лес валить?» – ответил ему Авдей Каллистратов. – И потом – кругом дерьмо, а к своему принялся».

«Откровенность делает тебе честь, – оценила Дама с @, с аватары которой смотрела рыжеволосая красотка. – Но ты забыл главное – слава развращает».

Авдею Каллистратову сделалось грустно. «Они не поймут, – думал он, – они не художники». Лето еще не кончилось, а его, как червь, уже точила осень – вчера Даша собирала граблями опавшие в саду листья, то и дело отправляя за уши спадавшие на глаза длинные волосы, а сегодня целый день лил дождь. Мерно стуча по крыше, он незаметно проникал внутрь, поселяясь в сердце, одновременно присутствуя и в шумах водостока, и где-то глубоко в душе. Авдей Каллистратов смотрел на сырые пятна, проступившие на обоях, и, зажмуривая по очереди глаза, видел в их очертаниях то свернувшуюся клубком кошку, то чье-то показавшееся ему знакомым лицо; переменив положение, он увидел косматого, оскалившегося медведя, потом согнувшегося в три погибели худого старика с нищенской сумой и подумал, что искусство – это способность наблюдать жизнь, по вкусу придавая ей смысл и значение, в то время как сама по себе она остается всего лишь разводом на стене. Потом он долго смотрел, как дождь рисует струйками пейзажи на окне, которые тут же смывает, оставляя их следы лишь в памяти, куда тоже глубоко залез дождь, и ему вдруг вспомнились его книги, которые были ориентированы на неприятательные вкусы и житейскую мораль. «А она права, – неожиданно для себя согласился он вслух с Дамой с @. – С приходом известности каждая своя строка кажется гениальной».

В последнее время Даша зачастила к молодым недавно поженившимся художникам, живущим на соседней даче, и Авдею Каллистратову было особенно тоскливо. Выкурив сигарету и бесцельно потоптавшись по дому, он нашел в чате Даму с @. «Я трагически одинок!» – написал он ей. Ответ не заставил ждать: «Я тоже. Вчера лучшая подруга отказалась со мной спать. Фу, дура! Я ей ничего такого и не предлагала. Правда, у меня было такое желание. И я благодарна, что она его угадала. У тебя есть друг?» – «Подруга». – «У меня тоже есть парень. Недавно он оплатил мне Карибы. Но я тебя понимаю. Кто из вас строит стену в отношениях?» – «Я». – «Честно?» – «А зачем врать?» – «Тогда я не въезжаю, чего тебе надо?» – «Если бы я знал». Каллистратов уже жалел, что вступил в переписку, оборвать которую мешало воспитание. «Депрессуха?» – «Что-то вроде этого». – «Тогда травка. Поверь, лучшее средство». – «Ладно, пойду курну». Авдей Каллистратов был рад, что свернул разговор. А когда через час пришла Даша, посмотрел на нее другими глазами.

– У тебя есть подруги?

– Почему ты спрашиваешь?

– Просто интересно.

– Нет. Были в университете. Но ты всех разогнал.

– Я?

– Ну, ты не виноват, просто в моем сердце не так много места.

Авдей Каллистратов расчувствовался, по дряблой, обвисшей щеке покатились слезы. Только сейчас он осознал, как много значит для него эта хрупкая девушка с умными интеллигентными глазами. Впервые он почувствовал за нее ответственность, которую раньше никогда не испытывал в отношении женщин, и вдруг подумал, что будет с ней, когда его не станет.

– Хочешь ребенка?

Даша подняла свои большие глаза.

– Останется на память, – улыбнулся Каллистратов.

Даша молча обняла его, прижавшись горячим телом.

Ночью они занимались любовью, и кровь у Авдея Каллистратова бегала по жилам, как жилец, осматривающий новый дом. А днем Даша ушла к художникам. Он проводил ее долгим

поцелуем и, насвистывая, немного побродил по саду, думая, что ему повезло. Какая девушка! Чистая, неспорченная, немного наивная. Правда, она чаще, чем бы ему хотелось, бросает его в одиночестве, но скоро ее жизнь переменится, так что пусть погуляет. Авдей Каллистратов налил себе рюмку коньяка и, не зная, чем заняться, залез в Интернет. Там его ждало сообщение. «Помогло? А я вчера с тобой за компанию забила «косяк». Может, это симпатия?» Авдею Каллистратову стало весело. «Так быстро? Разве я дал повод?» – «Дядя, о чем бы ни говорили мужчина и женщина, речь всегда идет о сексе. На аватаре мое фото. Ничего?» – «Выше крыши», – подыграл Авдей Каллистратов, отметив, что внешне Даша ей уступает. «И мне сдастся, Иннокентий, ты на меня запал?» Авдей Каллистратов расхохотался. «Учти, я очень хороший, но у меня масса проблем». – «Не упакован?» – «Ты про деньги?» – «А про что же еще?» – «Как раз с этим порядок». – «Так в чем же дело? Твоя стерва? Мы можем жить втроем». Авдей Каллистратов представил Дашу. «Она не согласится. Но проблема в другом». – «В чем?» – «Этого не объяснить». – «А ты попробуй». – «Похоже, мы с тобой живем в разных мирах и на твоём языке её даже не сформулировать». Повисла пауза. «А че ты мне тогда по ушам едешь? В разных мирах живем? А тремся на одном форуме». От приподнятого настроения у Авдея Каллистратова не осталось и следа. «Извини, ты права». – «Еще бы! А ты старый никчемный дурак, пропахший нафталином. Знаешь, почему я «Дама с @»? Потому что и укусить могу!» Она вышла из Сети. А Авдей Каллистратов ещё долго сидел, просматривая посты, которые оставляла в группе

Дама с собачкой

«Это чё форум анонимных лузеров? – строчила она, не соблюдая орфографии. – Типа поплачем дружно легче станет? Не станет тока жилетка будет мокрая. Пролетала как стрекоза над вашим болотом – полный отстой! И че вы ерзаете? Жизнь прикольна, вы можете трахаться, летать в самолетах, трещать по мобиле. Вы родились, и это чудо, редкая удача оказаться на этом свете!»

«А на том?» – прилепил грустный смайлик Модест Одинаров.

«И я про то же, – кивала Ульяна Гроховец. – Жизнь одна, чтобы так бездарно ею распорядиться».

«Быть или не быть? Не тот вопрос! Как быть и с кем – об этом надо думать!» – оставил свое предложение Олег Держикрач.

Это понравилось Зинаиде Пчель и Даме с @.

«Именно «с кем», а не «зачем!» – писала Дама с @. – А тот, кто не думает «как», прирожденный мудака!»

«Эт точно! – не удержался Авдей Каллистратов. – Жить – классно!»

Он сидел перед монитором и всерьез думал о том, как сделать предложение Даше. Нарвать цветов? Лучше ромашек, но за ними далеко тащиться. Жениться! И как я раньше этого не понимал? Авдей Каллистратов отвернулся к распахнутому окну, в которое лезли кусты калины с красными, но уже тронутыми чернотой гроздьями. Однако полетит к черту налаженная жизнь, прощай, заведенный годами распорядок. «В первую половину ведешь тот образ жизни, который во вторую ведет тебя», – пришло ему на ум. Фраза показалась красивой, и он занес ее в записную книжку. Потом снова посмотрел в окно. А тело? На погоду реагирует. Здоровье уже не то, перемены обязательно дадут о себе знать. Может, подождать? До конца лета? А к осени будет видно...

Даша вернулась оживленная, покрасневшая.

– Жаль, тебя не было, такие милые люди.

– В следующий раз бери с собой.

– Сколько раз было «в следующий раз»?

Даша рассмеялась. А Авдею Каллистратову стало неприятно за свои мысли, за чуть не сорвавшееся с языка предложение, его опять раздражала эта неумная жажда жизни, злило, что у Даши все впереди. «Зависть? – думал он. – А хоть бы и так! Не жениться же с ней». Мир принадлежал уже другому поколению, а он продолжал упрямо цепляться за прошлое, хватаясь за седло, из которого его давно вышибли. Ему захотелось отвлечь Дашу от вчерашнего разговора, заболтать, чтобы она забыла о нем и все шло как прежде. Авдей Каллистратов стал шутить, вспоминая забавные случаи своей долгой жизни.

– А знаешь, как меня дразнили в детстве?

– Как?

– Влюбlichem. А знаешь почему?

– Догадываюсь.

– А вот и нет. Просто учительница раз загадала нам загадку: «Кто бубнит, тот бублик, кто рубит – рублик, в тубетейке – тубик, а в юбке – кто?» – «Влюблик», – брякнул я. Так и пошло.

– Значит, ты уже тогда со словами играл. А какая разгадка?

– Поверишь, не помню! Проклятый «влюблик» все вытеснил. Может, это и не загадка была, а скороговорка.

– А может, шотландец?

– Или черт в юбке. Хотя для детей такое рановато. Замечала, в памяти часто какая-то ерунда остается? Когда меня в Африке леопард ранил, я полз к лагерю, истекая кровью. А в уме

крутилось: «Голуби на дереве – к войне!» Так вот – ни как дополз, ни как меня перевязывали, не помню, а присказка эта сохранилась. Как и хромота. А зачем они мне?

Авдей Каллистратов знал, что может быть интересен, и вскоре увидел загоревшиеся глаза, которые глядели на него, не отрываясь. «По ушам ездись... – вспомнил он. – Так это, голубушка, еще заслужить надо!» Авдей Каллистратов был в ударе, и ему казалось, что он видит жизнь насквозь, погружаясь в ее глубины, взлетая в поднебесье, откуда ничто не может укрыться. Но он не знал, что Даше известна его тайная переписка. Как-то он забыл выйти из браузера, и она, заглянув в историю его интернет-путешествий, попала в группу. Это случилось еще в городе, когда она хотела быть к нему ближе, и, зарегистрировавшись как Дама с @, писала: «Это че форум анонимных лузеров? Типа поплачем дружно легче станет?» Отвечая Авдею Каллистратову, Даша кусала губы, роль дуры ей давалась с трудом. Молодожены-художники были в курсе ее дел, участливо предоставляя ей кресло за компьютером.

– Ах, бедняжка, какой же он все-таки негодяй, какой черствый эгоист!

– Я больше не хочу его обсуждать. Я хочу отомстить.

Художники сочувственно кивали, вспоминая ее исповедь: «Три года я потратила впустую! Целых три года! Он водил меня на поводке, как собачку, видел перед собой влюбленную дуру. А теперь он мне противен. И зачем я ему? У него же есть зеркало. Он всю жизнь притворялся, имитировал, а честным стал только в группе, из чего я заключила, что себе он никогда не врал. Искренне заблуждался? Это не про него! Разве такие заслуживают снисхождения? Я понимаю, в писательском мире по-другому не пробиться, если ты не чей-то сват-брат, надо изворачиваться, предавать? Но при чем здесь я?»

Всего этого Авдей Каллистратов не знал. «Ты изумительная, необыкновенная, – шептал он, жадно целуя волосы, рассыпанные по подушке. – Я на пике блаженства, на пике блаженства...» Он провалился в сон. И тут ему тоже снились волосы, рассыпанные по подушке, которые пахли горной лавандой и дарили ему молодость. А когда проснулся, их не было, постель была пуста. «Верно, в саду», – решил Авдей Каллистратов, сладко потягиваясь. Но Даша не было и там. «Пошла в магазин». Он набрал ее номер, мобильный был отключен. «Не иначе у художников заболталась, – раздраженно подумал он, когда она не вернулась к обеду. – Могла бы хоть позвонить». Достав вазу, он набрал в саду палых яблок и, прежде чем поставить на стол, несколько изгрыз. Постепенно его раздражение сменилось тревогой. Взяв трость, Авдей Каллистратов отправился к художникам. Звонок не работал, и Каллистратов, просунув руку к щеколде, открыл калитку снаружи. На крыльце он громко постучал тростью в дощатый пол. На пороге появилась молодая пара.

– Даша у вас? – властно спросил он, не здороваясь и не представляясь.

– Даша уехала, – в тон ему ответил муж. – Сказала, что встретила молодого человека, с которым будет счастлива.

Каллистратов онемел. Все это походило на глупый розыгрыш, сейчас из дверей выйдет Даша, и они все посмеются. От его грубой бравады не осталось и следа, он нелепо топтался, и помимо его воли на лицо напозла виноватая улыбка.

– Она... – начал он хрипло, закашлявшись в кулак. – Она ничего не передавала?

Художники смерили его взглядом.

– Она советовала вам оставить искусство, – сказал муж.

– И перечитать «Даму с собачкой», – быстро добавила жена.

Авдей Каллистратов остолбенел. Жена сощурилась:

– Хотя какой из вас чеховский герой...

– Откуда вы знаете? – взорвался Авдей Каллистратов. – И нечего на меня так смотреть!

Распрямив спину, он зашагал к калитке. «Все проходит, – собрав остатки гордости, твердил он. – И быстро». Вздохнув, он ускорил шаг, а за калиткой, перевернув трость, застучал по забору массивным набалдашником. «Кси-ло-фон, кси-ло-фон», – отзывалось у него в ушах, а

когда штaketник кончился, он, размахнувшись, зашвырнул трость в овраг. С пригорка открывалось бескрайнее поле, полное солнца, гудевших пчел и пуха от облетающих одуванчиков. «И сюжет всегда один, – окунувшись в его марево, плыл Авдей Каллистратов. – Смычка, случка, стычка – смычка, случка, стычка...» Солнце зашло, а он все бродил по полю кругами, едва ворочая языком, прилипшим к засохшей гортани: «Смычка, случка, стычка...» Вечера были холодные. Укутавшись на веранде пледом, Авдей Каллистратов допил коньяк. Он точно оглох, не слыша кружившую вокруг лампы мошкару, окрики пастухов, которые щелкали кнутами, прогоняя через деревню мычавшее стадо. Он застыл в тупом отчаянии, погрузившись в особую тишину, которую рождает одиночество.

– Должна быть записка, – вдруг произнес он с пьяной уверенностью. – Конечно, должна быть.

Стукнув себя по лбу, он открыл шкаф, увидев, что исчезли Дашины платья, выбросил на кровать свои мягкие костюмы, вытряхнул из серванта все мелкие вещи, перерыв их, наткнулся на ее духи, ударившие в голову запахом лаванды, и – разрыдался. Ему вдруг стал невыносим разом опустевший дом, каждый угол которого кричал о ней. Он вышел в сад, сел на качели – она была и там. Не находя себе места, Авдей Каллистратов обошел кругом дом. Казалось, сама земля, помнившая прикосновение ее босых ног, шептала о ее присутствии. Авдей Каллистратов опустился на заросшую мхом ступеньку и, глядя на мерцавшие звезды, плакал, плакал...

Забрезжил рассвет, сизое небо повисло клочками над уснувшей деревней. Горькая обида, разъедавшая Каллистратова, прошла, теперь он ясно увидел себя со стороны. Сгорбленный, с опущенными плечами, он давно проехал повороты, где мог встретить ту единственную, которая его ждала и которой теперь не будет. Он совершенно успокоился, осознав, что искать Дашу бесполезно, что в этом ему не поможет целый штат детективов, что единственный способ смириться с одиночеством, на которое обрекла его старость, – это честно признать его победу, подтвердив все права над собой. Он открыл Интернет и добавил сообщение Даме с @: «Перечитай «Страшную месть» Гоголя».

Утром, собрав чемодан, Авдей Каллистратов закрыл дом, спрятал ключ на притолоке и побрел на станцию ковыляющей походкой, точно его ноги, подгибаясь, пересчитывали прожитые дни. Он пришел слишком рано, так что, купив билет, успел еще выкурить полпачки, зажигая сигареты одну от другой, прежде чем первым автобусом уехал в город.

– В этом году вы что-то рано с дачи, – приветствовала его консьержка. – Насовсем вернулись?

– Насовсем.

Дом показался ему пустым и холодным. Чтобы быстрее к нему привыкнуть, Каллистратов тут же разобрал чемодан, повесив одежду в скрипучий шкаф, потом, листая записную книжку, сел за телефон. «Да, уже приехал. Какие новости?» «Привет, уже из города. Нет-нет, не заболел. Когда у нас ближайшее мероприятие? Увидимся». «Хочу пораньше приступить к работе, сколько можно отдыхать...»

Повесив трубку, он стал насвистывать какой-то веселый марш. Потом вдруг произнес, точно продолжая говорить по телефону: «Ничего, мы еще повоюем, все что ни делается – к лучшему!» Дернув за веревку, он раздвинул глухие шторы, с которых полетела пыль, распахнул окно, впуская свежий воздух и уличный шум. Глядя на мокрый тротуар, еще не высохший после ночного дождя, он думал, что его единственное спасение – это вернуться к прежнему распорядку, погрузиться в работу, не откладывая сев за новый роман. В приподнятом настроении он приготовил кофе, сел в кресло, и тут на глаза попала полка с его книгами. «Ну не настолько они и плохи, раз читают». Сдвинув тугое стекло, взял одну он наугад. Мало ли что он писал про себя в Интернете – недовольство собой присуще настоящему художнику. Разве оно не признак истинного таланта? Он пробежал глазами пару абзацев, пролистав, выхватил еще несколько строк, и от его настроения не осталось и следа. Книга полетела на пол, топорщась

страницами, как взъерошенный воробей. Он взял следующую. Через мгновение она накрыла первую. От растерянности Каллистратов никак не мог достать очередную книгу, стекло заело, и он стал бить ладонью по торцу. Стекло лопнуло, клинообразные осколки обнажили акулюю пасть. С порезанной ладони закапала кровь, но он не обратил внимания. Третья, четвертая... Гора на полу росла, пока полка не опустела. Авдей Каллистратов беспомощно опустился на сваленные в кучу книги и дико захохотал...

Премии вручали ранней осенью. На награждении были Чернобай и Синеглаз, раздававшие похвалы жюри за выбор лучших, а в президиуме, передавая микрофон, долго распростирались о лауреатах, подчеркивая несравненные достоинства их книг.

– Это современная проза, – шамкал лысоватый старик, перепутавший на юбилее имя Авдея Каллистратова. – Настоящая современная литература. – Он многозначительно замолчал, давая понять: он вкладывает в слово «современная» больше того, что представляемые авторы еще живы.

– Мы оценивали только текст, – вертел змеиной головкой критик, приехавший к Авдею Каллистратову на дачу. – Только художественность и мастерство.

В зале сосредоточенно молчали, ожидая объявление победителя, но в жюри все тянули и тянули. Невзирая на нетерпеливый скрип стульев, говорили о великой силе искусства, возрастающей роли слова, при этом каждый из выступавших не преминул напоминать о себе. Авдей Каллистратов равнодушно обводил взглядом зал, механически кивал, замечая знакомые лица. Он вполуха слушал привычные речи, изредка аплодировал, а сам думал о том, почему всю жизнь писал бог знает о чем, но не о том, каким увидел мир, куда пришел, и теперь его впечатления останутся тайной, которую он унесет с собой. Оставить слепок своего времени – может, в этом было его предназначение? Может, для этого он и родился? Когда до него дошла очередь выступать, он долго молчал, перебирая пальцами провод от микрофона.

– Говори же, – с недоумением толкнули его в бок.

– А что говорить? – хрипло произнес он. – Что вы лжете? Что мы все здесь мертвые души?

Динамик разнес его слова по залу, и, когда Авдей Каллистратов, обхватив голову, шел к двери, стояла гробовая тишина.

Преступление и наказание

Человека под ником «Раскольников» звали Захар Чичин, и он был наемным убийцей.

«Жена и дети считают меня бизнесменом, – писал он. – У меня действительно есть сыскное агентство, и служи я государству, то числился бы героем. Такие есть во все времена – в конце концов, люди всегда сводят счеты, как Каин с Авелем, а я лишь оружие, которое выбирают. Может ли оно быть виноватым?»

С аватары Захара Чичина смотрел окровавленный топор, а на его личной странице значилось:

«Родион Романович Раскольников, год рождения: 1866, религиозные взгляды: «Бог – это дьявол», политические – «право имею»».

«О законе говорят, когда хотят запугать, – продолжал он. – К совести зывают, чтобы ослабить. Куда плывет наш корабль? Мы рождаемся, влюбляемся, стареем, из трюма стремимся на палубу, а потом умираем. Тогда нас выбрасывают за борт. Мой дед погиб на фронте. Бабка оплакивала его в одиночестве, не получив за него пенсии. А сейчас правят внуки тех, кто не воевал, кто пас в горах овец или сидел в лавке. Зачем им чужие предки? Мой отец честно трудился, а к старости не скопил на больницу и умер, потому что ему не сделали операцию. Все каюты на корабле открывает золотой ключик, а как его достают – спросу нет. Но больше рта не проглотить, больше желудка не переваришь, и лишнего я не беру. Искать меня бесполезно, я пользуюсь разными интернет-кафе, а живу в далекой стране, так что мои дела вас не коснутся.

Зачем я откровенничаю? А зачем откровенничают Иннокентий Скородум? Или Модест Одинаров? К нему только приблизилась смерть, а со мной она постоянно».

Комментарии не заставили себя ждать.

«Так и со мной смерть постоянно, – признался Иннокентий Скородум. – Ночами кричу от страха, кажется, мы с ней под одним одеялом. А Земля – это корабль-призрак, летучий голландец...»

«Если это розыгрыш, то глупый, – написал Сидор Куляш. – А если откровения киллера, из них можно было бы сделать сенсацию. Лет сто назад».

«Будете флудить, вас забанят», – пригрозил администратор.

«А сколько стоят ваши услуги, Раскольников? – заинтересовалась Дама с @. – На свете столько мерзавцев».

«Совершенно согласна! – откликнулась Ульяна Гроховец. – Когда меня отфутболивает чиновник, мне хочется всадить ему пулю в живот. И смотреть, как он корчится. Смотреть молча, жадно, сладострастно!»

«Все закладывается в детстве, – вынес приговор Олег Держикрач. – В вашем было явно что-то не так».

Прочитав его комментарий, Захар Чичин вспомнил себя ребенком. Он жил тогда в пыльном южном городке с базарной площадью, в которую упиралась единственная улица, круто забиравшая к морю, и песчаной косой, далеко вдававшейся в залив. Цыгане продавали там на базаре животных блох, завернутых в хлеб, который принимали от золотухи, а эвкалипт, сбрасывавший летом кору и стоявший голым, называли «бесстыдницей». Родительский домик с каштаном во дворе, под которым спозаранку горланил петух, ютился на отшибе, отделенный от моря пригорком, и Захар вместо колыбельной слушал доносившийся издалека шум волн. Летом родители сдавали комнаты, перебираясь во флигель, и Захар привык, что люди вокруг менялись, навсегда исчезая, будто умирали, он легко сходилась и так же легко расставался. «С глаз долой – из сердца вон», – поучала его бабка, на войне потерявшая мужа и проводившая старость в кресле под каштаном со спицами в руках.

– Бабушка, расскажи мне про деда, – просил ее Захар, свернувшись, как кошка, у ног.

– А что рассказывать? О живых надо думать, мертвые сами о себе позаботятся.

И Захар рано осознал, что на свете ничто не вечно. А людская память – и подавно. Он рос сорванцом с вечными ссадинами на коленках, которые мать, придерживая его за талию, пока он нетерпеливо переминался, смазывала зеленкой, и с пронзительным ломавшимся голосом, раздававшимся то в одном конце улицы, то в другом. «Рыжик, ко мне! – звал он щенка вислоухой таксы с вечно вилявшим хвостом. – Когда вырастем, возьму тебя на охоту». Он ласково трепал собаку, представляя, как она будет вытаскивать из нор сусликов, а потом бегал с ней наперегонки по улице, поднимая облака пыли. Но Рыжик так и не вырос. В то жаркое лето, когда пасеки ломились от меда, его укусила пчела. Его нос мгновенно распух, и все короткие полчаса, пока не началась агония, он знал, что умирает, беззащитно жался к Захару, и в его глазах стояли слезы. Плакал и Захар.

– Рыжик, Рыжик, – прижимал он щенка. – Ты только не умирай, мы еще пойдем на охоту.

– Отойди, – сурово сказала бабка, – его уже не спасти.

В ту ночь Захар долго не мог уснуть, а во сне видел морской берег, после шторма пахший мертвой рыбой, выброшенной на отмель, он носился босиком по раскаленному песку, загребая ногами бурые водоросли, сохшие на солнце, и швырял Рыжику теннисный мяч, который тот возвращал в зубах. Мертвый Захару снился в первый и последний раз. Потом у него были другие собаки, но их смерть он переносил с полным равнодушием. И на другой день Захар, точно повторялся его сон, пошел на море, пахшее после шторма бурыми водорослями. На берегу было много медуз – распластавшись на солнце, они медленно плавались, растекаясь по песку, на котором оставляли мокрые пятна, и Захар долго наблюдал их молчаливую смерть.

Учился он плохо, уроков не делал вовсе, и бабка не успевала вязать носки, которые он быстро дырявил, бегая по скрипучим половицам. Дом к этому времени опустел, его больше не сдавали отдыхающим – мать Захара сбежала с одним из жильцов, все лето смешившим его чудным, нездешним выговором, и теперь, присылая деньги, прикладывала письмо с одними и теми же словами: «Люблю, скучаю, скоро увидимся!», а отец, поначалу было запивший, зачастил к овдовевшей соседке. «Ты заходи, Захарушка, – перевозя к ней вещи, погладил он сына шершавой ладонью. – Мы же от тебя рукой подать». Это «мы» резануло Захара, он понял, что у отца теперь другая жизнь, и, запершись в пропахшем луком чулане, выплакал в темноте все глаза. Вдова жила в тенистом доме через дорогу, которая быстро превратилась в пропасть, – у покосившегося палисада Захара встречала женщина с тонкими злыми губами, молча провожала к отцу, а потом, уперев руки в бока, вставала у двери. Но вскоре Захар выбросил из памяти и ее сверлящий взгляд, и неловкую растерянность отца, не знавшего, куда деть за столом свои большие руки, и миску супа, от которой отказывался, трясая вихрастой головой. «Будь как ветер, – долгими зимними вечерами, когда по крыше хлестал дождь и выйти за порог было, как в открытый космос, кряхтела постаревшая бабка. – Кто не привязывается, тому легче выжить».

В интернет-группу Захар Чичин попал случайно. Получив рассылку, он собрался пометить ее как спам, но вместо этого ошибочно открыл. Первое, что бросилось в глаза, было сообщение Модеста Одинарова, описывавшего свое происшествие с собачником. «Ничтожество», – расхохотался Захар Чичин, представив на его месте себя, и, не удержавшись, посоветовал убить собаку вместе с хозяином. Больше из суеверия, чем из осторожности, он подписался Раскольниковым, о котором читал на зоне. С тех пор его тянуло на этот сайт. Он даже думал, что допустил ошибку не случайно, а по воле свыше, и позже, исправляя личную страницу, написал, что верит в ангела-хранителя, а учился в «жизни».

Прочитав комментарий Иннокентия Скородума о смерти, которая по ночам забирается под одеяло, Захар Чичин усмехнулся. Что может знать этот писатель, который трясется за свое положение, считая, что дожить до старости – большое искусство? Для него оно укладывалось в три «не»: не спиться, не повеситься, не сойти с ума. Разве он знает, что значит выжить?

Выжить любой ценой! И Захар Чичин вспомнил свою первую кровь. Он пролил ее в армии, куда его призвали после школьной скамьи, отправив в горы, где стрелять из автомата учатся прежде, чем говорить, а охотничье ружье презрительно зовут «ружбайкой». «Ма-ма!» – первое время звал он во сне, смеша всю казарму. Солдаты в горах были пушечным мясом, которое исправно поставляли вертолеты с равнин. Они не должны были ценить жизнь: ни свою, ни чужую. И чем быстрее они это понимали, тем больше шансов у них было вернуться. Ночами было холодно, луну лихорадило, и она зыбко качалась над сумрачными вершинами, покрытыми елями, в которых протяжно выли волки. И Захар Чичин снова чувствовал себя ребенком: разбивая в кровь колени, с автоматом наперевес бегал по «зеленке», пугаясь скрипевших на ветру сосен, а при малейшем шорохе выпуская в заросли всю обойму. Их сержант, сутулый жилистый гуцул с вислыми усами, был прирожденным убийцей. «Война – мать родна, – приговаривал он, подбрасывая в костер хворост крепкими, как плети, руками. – Она победителей любит, так что вкалывайте, сосунки, будете еще на гражданке сопли жевать, если доживете». «Война всегда поражение, – думал Захар Чичин. – И она никого не любит».

Раз отделение заняло дом, из которого вели огонь, и сержант, словно не замечая ни сваленных в углу детских вещей, ни семейных фотографий, развешанных по стенам, приказал расстрелять хозяина.

– Я не могу, – дрогнул голос у Захара Чичина.

Сержант передернул затвор:

– Учти, за невыполнение...

Захар не шелохнулся.

Глаза у сержанта превратились в бритвы:

– Его по-любому грохнут, хочешь дорожку показать?

– Но почему я?

– Когда-то надо начинать, сосунок. А замараться не бойся, на войне чистенькие только жмурики в морге.

Хозяина вывели во двор. Пахло сыростью, над домом висела багровая луна.

– Вот она какая, дверь в рай – без петель, – прохрипел он, вставая к стенке.

– А какая в ад? – не удержался Чичин.

– На раскаленных крючьях, – оскалился горец. – И на ней по-гяурски написано «Добро пожаловать!».

Вернувшись в дом, Захар Чичин устало доложил:

– Сделано.

– Ему же лучше, не увидит, – усмехнулся сержант, указав на дверь, за которой насильники дочерей горца. – Иди, там всем хватит.

Хозяин дома провожал отделение с немым укором – окровавленное тело так и бросили у стены. А потом были другие, мужчины и женщины, чужие и свои. Были цинковые гробы, которые отправляли на вертолетах обратно на равнину, были подорвавшиеся срочники, останки которых разлетались по минному полю, были контрактники, истерзанные в плену до неузнаваемости, а горцев, закопанных в ельнике, и не сосчитать. Выжить! Выжить любой ценой! «Все дело в привычке, если за тридцать перевалило, а за плечами ни одного жмурика, пиши пропало, – мрачно ухмылялся сержант. – Горячиться будешь, кудахтать, а рука не поднимется». Он говорил, что сосункам еще многому надо научиться, а сам мог, чуть расставив ноги, помочь на ходу и, плюнув, как верблюд, попасть собеседнику в глаз, убежденный, что попавший плевком попадет в него и пулей. «Ты пойми, время у нас по-разному идет, – признавался он через год Захару, заглядывая в глаза с непривычной нежностью. – Вы, срочники, отбарабаните свое и по домам, а я останусь. И сколько протяну – неизвестно. – В его голосе звучала грусть. – Так что для вас, пока мы вместе, это ад, который надо перетерпеть, а для меня, у которого впереди ничего, золотые денечки».

Стоял Захар Чичин и со свечой в церкви, куда солдат согнали на Рождество. Они толпились у освещенного алтаря, жались к деревянным стенам, помещение тесное – не продохнуть. Запах сапог и пропотевших шинелей смешивался с запахом ладана, теплом оплывавших свечей. Осторожно переминаясь, солдаты косились на темневшие по сторонам лики угодников, задирая голову к потолку, глядели на Спасителя посреди облаков, благословлявшего их сведенными перстами. «Кто за други свои живот положил, тот душу сберег», – размахивая кадилом, гудел молодой конопатый батюшка. «Не бояться, не беречься, не ныть», – по-своему понял Захар Чичин. Из армии он вынес отношение к жизни как к чему-то временному, данному в долг и человеку не принадлежащему, и был готов с ней расстаться в любое мгновение.

За неделю до дембеля его с сержантом послали в разведку. Их засекли в чахлом кустарнике, открыв пальбу, прижали к реке. Они отстреливались до последнего, но их обложили крепко, к тому же сержанта ранило. Выжить! Выжить любой ценой! И когда Захар Чичин заметил в кустах утлый одноместный челнок, прыгавший на волнах – течение было сильным даже у берега, – он не колебался.

– Давай, сосунок, не тяни, – прохрипел сержант, увидев направленное дуло.

– Не могу, отвернись...

Грохнул выстрел, и Захар Чичин, оттолкнувшись шестом, вырулил на быстрину. В части Захар Чичин сказал, что сержанта подстрелили горцы, а он, добравшись вплавь до камышей, просидел там, пока не стемнело. Про челнок, который он отпустил по течению, Захар Чичин умолчал. Придуманная впопыхах история выглядела неубедительно, и, когда подозрения взяли верх, его судили. То, что пуля у сержанта вошла в затылок, уликой не сочли. «Кто выжил, тот свое и докажет, – твердил про себя Захар Чичин. – Виноваты мертвые, а живые всегда правы». Но когда ему предъявили обвинение в том, что он бросил командира, у него не выдержали нервы.

– Слышь, браток, – как-то вечером подозвал он сменившегося караульного. – Дай закурить, сил нет, хочется.

– Не положено.

– А трупы в лесу зарывать? Без документов?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.